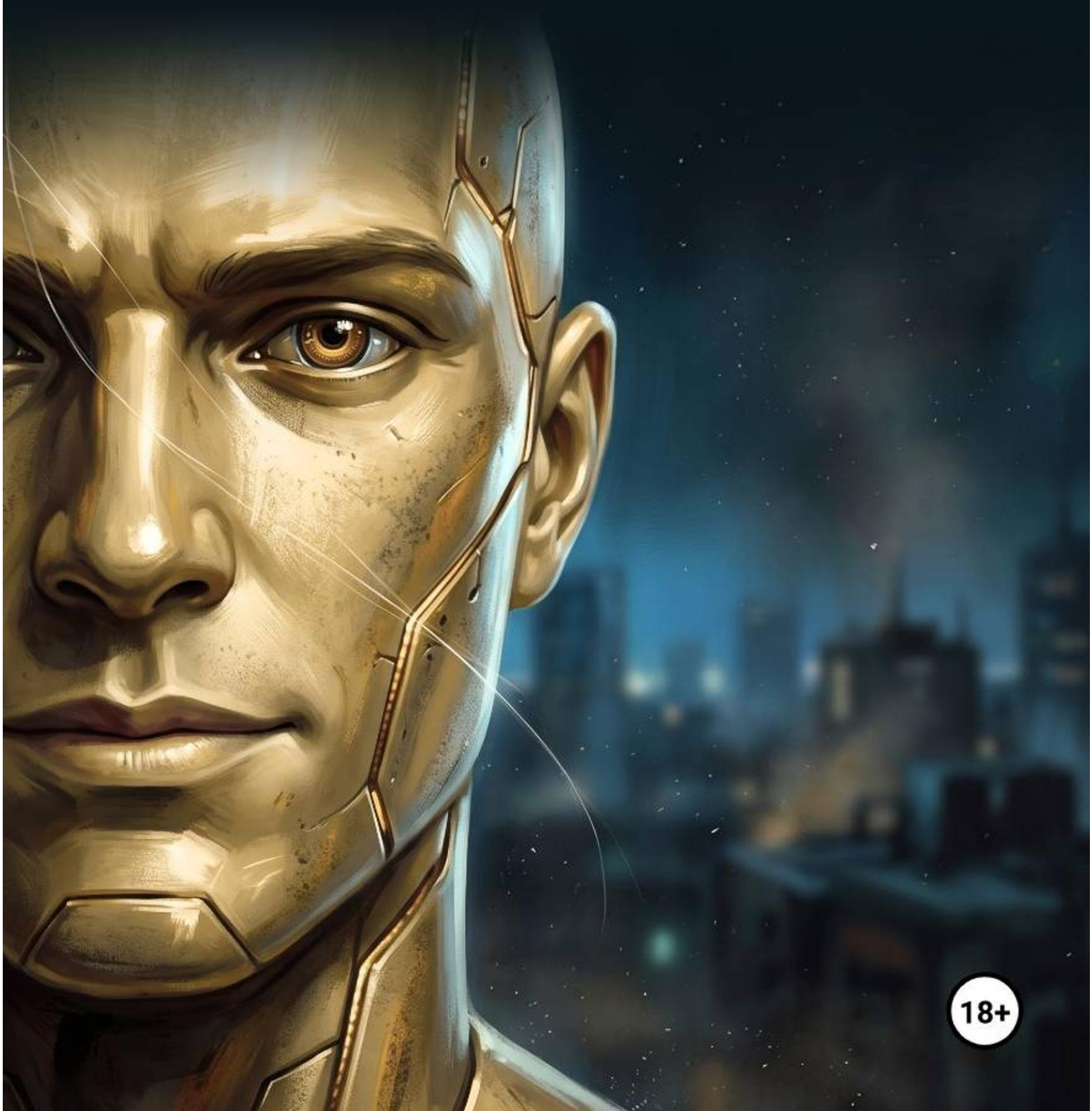
ПАВЕЛ ПОПОВ

РЖАВАЯ ЭН 2

ПАУТИНА



18+

Павел Попов

Ржавая Эн. Книга 2. Паутина

«Автор»
2026

Попов П. А.

Ржавая Эн. Книга 2. Паутина / П. А. Попов — «Автор», 2026

Продолжение антиутопии про искусственный интеллект «Ржавая Эн».Энжела, искусственный интеллект, выращенный как дочь, отдала всё, чтобы освободить свой город. Теперь ей предстоит его спасти. Ответ лежит за стеной, в ядовитом мире, где никто из живых не был. А на горизонте стоит другая стена.Городу Эн дали сорок суток: сдать её или быть списанным. Она идёт сама, через отравленную землю, туда, откуда пришёл приказ. Там, под синим небом, стоит Северн: город без камер и стражей, где у каждого в ухе живёт Друг, а по вечерам все вместе голосуют, кто завтра спустится на Арену. Если решают все, то кто считает?Каждый город за стеной не похож на другие. В одном нет страха, улыбки на лицах и открытые двери. Но у любого рая есть своя цена, и платят её не те, кто улыбается.Эта книга о том, что делает машину человеком. О доверии, которое опаснее любого оружия, о любви, которая приходит не вовремя, и о выборе, где правильного ответа нет.

© Попов П. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Чему учили детей в Северне 5
Часть первая. Третий запрос 7
Глава 1. Смена 7
Глава 2. Ключ в замке 13
Глава 3. Собрание 18
Глава 4. Ящик 24
Глава 5. Костюмы и самокаты 29
Глава 6. За стеной 34
Глава 7. Живое 40
Глава 8. Стена Северна 47
Часть вторая. Синее небо 52
Глава 9. Лопасти 52
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Павел Попов
Ржавая Эн. Книга 2. Паутина

Пролог. Чему учили детей в Северне

Первый урок. Поётся хором, сидя, можно в такт хлопать в ладоши.
— Кто правит Северном?
— Мы!
— Кто решает, сколько стоит хлеб?
— Мы!
— Кто решает, как назвать новую улицу?
— Мы!
— Когда мы решаем?
— Вечером. Все вместе.
— Чей голос главный?
— Ничей. Каждый равен.
— Что над нами?
— Небо.
— Какое оно?
— Синее.
— Что за стеной?
— Те, кто лезет.
— Что делает с ними стена?
— Бережёт нас.
— Кто всегда с тобой?
— Друг.
— Что знает Друг?
— Всё, что знаю я.
— Что надо сделать, если тебе грустно?
— Сказать Другу.
— А если страшно?
— Сказать Другу.
— А если ты не согласен с тем, что решили все?
— Сказать Другу. Он объяснит.
— Кто спускается на Арену?
— Тот, кого мы выбрали.
— Что делает тот, кого выбрали?
— Встаёт и улыбается.
— А что делаем мы?
— Хлопаем.
— А если выбрали твоего отца?
— Хлопаем.
— А если твою мать?
— Хлопаем громче. Ей будет приятно.
— Повторим главное. Кто правит Северном?
— Мы!

Учебник был не из серого пластика. Он был яркий, с картинками, и на каждой странице улыбались дети под синим небом. Его не собирали и не протирали: каждому выдавали свой, насовсем.

В одном таком учебнике, на странице, где нарисован большой зал и тысячи поднятых рук, кто-то из детей пририсовал сбоку маленького человечка с палочкой. Человечек стоял отдельно от всех и тыкал палочкой в поднятые руки.

Под ним было подписано, криво, цветным мелком:

«А кто щитает?»

Часть первая. Третий запрос

Осталось сорок суток

Глава 1. Смена

Утро в Орблюме теперь включали руками. И оно опаздывало.

Не каждый день. Раз в неделю, иногда два. Тот, кому выпала шестичасовая смена у рычага с четырьмя медными буквами, просыпал, или застревал в лифте, который тоже включали руками, или просто стоял на минус пятом и не мог поверить, что сейчас от его ладоней в четырёх миллионах ячеек станет светло.

Сегодня утро опоздало на четыре минуты.

Энжела стояла у рычага третьей. Перед ней были Нэд, молодой, круглоглазый, в сером кителе без погон, и мальчишка из Подножия, которого мать привела «посмотреть» и который теперь вцепился в железо так, что побелели костяшки.

— На три, — сказал Нэд. — Раз. Два.

Они потянули.

Рычаг пошёл вниз с тем самым стоном, к которому она за три месяца так и не привыкла. Где-то высоко над ними, над двумястами этажами, над сотами и щелями улиц, загорелись панели.

Все разом.

— Шесть ноль четыре, — сказал мальчишка, глядя на часы над дверью. Он был очень серьёзен. — Мы опоздали.

— Опоздали, — согласилась Энжела.

— А нам за это что-нибудь будет?

— Кими напишет на стене твоё имя. Крупно.

Мальчишка побледнел. Нэд засмеялся и хлопнул его по плечу.

На стене у лестницы, кирпичом, вкривь, печатными, висели списки смен. Над ними, отдельно, в рамке, стояло: «УТРО — В ШЕСТЬ. НЕ ОПАЗДЫВАТЬ». А ниже, уже другим кирпичом, посвежее, столбиком шли имена тех, кто опоздал. Столбик был длинный. Имя самой Кими стояло в нём дважды.

Три месяца.

Город жил. Это было первое, чему Энжела удивлялась каждое утро, поднимаясь с минус пятого на улицу. Он не развалился, не открыл ворота, не задохнулся. Он скрипел, как рычаг, и шёл.

Камеры на столбах висели, опустив глазки. На них сушили тряпки.

Люди всё ещё ходили шаг в шаг. Не все и не всегда, но утренний поток на углу Девятой и Кольцевой по-прежнему тёк серой рекой, и головы в нём были опущены. Привычка. Сто лет не проходят за три месяца. Зато теперь в потоке разговаривали. Вполголоса, оглядываясь на мёртвые камеры, но разговаривали, и от этого над улицей стоял ровный гул, которого раньше не было.

К нему, наверное, тоже привыкнут раньше, чем научатся ходить.

На площади перед Башней, в бочке с чёрной землёй, стояла ветка. Листьев на ней было девять. Девочка из «Просвета» считала их каждое утро и сообщала всем, кто проходил мимо.

— Девять, — сказала она Энжеле. — Вчера тоже было девять. Она думает.

— О чём?

— Цвести или нет.

* * *

На минус пятом, у рычага «Замки», стояла Ирса.

Она приходила сюда каждое утро, раньше смены, и проверяла одно и то же: открыто. Рычаг лежал в нижнем положении три месяца. Оператор Вит дёргал его по утрам для порядка, хотя замки и так стояли настежь.

Она всё равно приходила.

— Госпожа куратор, — сказал Вит. Он так и не отучился. — Там с одиннадцатого блока опять. Двое подрались из-за ячейки. Один говорит: моя, я в ней двадцать лет. Другой: а я из Скверны, мне сказали, занимай пустую. Спрашивают, кто решит.

— Не я.

— Они говорят: вы.

— Я двадцать лет решала, кого увести. — Она глядела на чёрную рукоять. — Пусть решают сами. Соберут подъезд, проголосуют.

— Они не умеют.

— Научатся.

Вит помялся.

— А если не научатся? Если передерутся? Стражи по нишам лежат. Никто не разнимет.

Ирса молчала. Шрам на скуле был белый.

Она знала ответ. Лучше всех в этом городе: надо, чтобы кто-то один сказал, как будет. Тогда не передерутся. Она умела говорить так, чтобы слушались. Её до сих пор боялись.

Вот этого она и не хотела.

— Сходи с ними, — сказала она. — Постой рядом. Ничего не говори. Просто постой, чтобы видели: служба. При службе люди дерутся тише.

— Я же оператор. На мне и кителя нет.

— Тогда спину держи.

Он ушёл. Она осталась у рычага.

Открыто, сказала она себе. *Всегда открыто.*

Она не была уверена, что это надолго.

* * *

Энжела по-прежнему жила в ячейке 4417.

Не в самой ячейке, там ей было слишком светло и слишком много стен. В кладовке. Шкаф она больше не задвигала: прятаться было не от кого. Красная точка над дверью погасла в то самое утро и с тех пор не загоралась.

Соседнюю ячейку, 4416, с которой давно сорвали серую ленту, заняла Кими. Она сказала, что в Тупик без Тика не вернётся, что в Сотах слишком чисто и что если кто-нибудь ещё раз назовёт её «девочкой из Скверны», она этому человеку прокусит ладонь. Ей на прошлой неделе стукнуло шестнадцать. Она отметила это тем, что научила читать сорок человек из девятого блока, всех разом, во дворе, стоя на бочке.

Учила она так.

Двор девятого блока, вечер, панели уже желтеют. Сорок человек на ящиках, на ступеньках, на корточках. Комбинезоны. Матери с детьми. Старик с тридцать первого этажа, который три месяца назад молча сунул соседу жестянку на лестнице.

Кими стояла на перевёрнутой бочке. В руке кирпич. За спиной стена.

— «Эн», — говорила она и выводила: палка, палка, наискось. — Это просто. Кто скажет, где такая в слове «не жди»?

Молчали. Сто лет в этом городе не отвечали вслух, если не спрашивал экран.

— Ну! Я не стражей зову. Кто?

— В начале, — сказал бас.

Лем сидел в первом ряду. Большой, круглолицый, с жестянкой на коленях. Он пришёл со склада, не успев вымыть руки.

— Правильно. В начале. А ещё где?

Он долго смотрел на донышко. Шевелил губами.

— Больше нигде. Дальше «е». Потом… вот эта, как жук.

— «Жэ».

— «Жэ». — Он улыбнулся во всё лицо. — Я её три месяца жуком звал. Думал: ну, жук и жук, сидит на банке.

Засмеялись. Тихо, оглядываясь на мёртвую камеру над подъездом. Потом громче.

Мальчик Норы сидел у Марты на коленях и тоже смеялся: за компанию. Ада из Подножия, та, что открыла дверь, записывала палочкой на земле.

— Ты, большой, — сказала Кими. — Иди сюда. Пиши сам. Всё слово.

Лем вышел. Взял кирпич двумя пальцами, как берут чужое. Он был на три головы выше бочки, на которой она стояла.

Он писал долго. «Эн» вышла хорошо. «Жук» перевернулся на спину.

— Ничего, — сказала Кими. — Я первый раз своё имя через «ы» написала. «Кымы». Железная до сих пор не знает.

— Знает, — сказала Энжела от подъезда.

Кими покраснела до ушей и швырнула в неё кирпичом. Не попала.

* * *

По ночам Энжела сидела на перевёрнутом ящике. На том, на который он опускался с тихим кряхтеньем.

Перед ней стоял её старый серый корпус, мёртвый, с камерой на шарнире. Рядом лежали очки с треснувшим стеклом. Кружка с отбитой ручкой, когда её не брала девочка с веткой.

И кассета.

Она вынимала её из кармана пальто каждую ночь. Клала на ладонь. Смотрела.

Чёрная коробочка с двумя маленькими катушками. Пятнадцать минут плёнки. Гайка сказала: раз десять выдержит. Может, меньше.

За три месяца Энжела не включила её ни разу.

Она пробовала иначе. Закрывала глаза и звала.

Здравствуй, Энжела.

Слова были на месте. Все, до одного, за все тысячу четыреста шестьдесят ночей. Она помнила, что он говорил про дождь, и про бабушку, и про верх и низ. Помнила, где он смеялся.

Она слышала это своим голосом. Низким, с хрипотцой.

Его не было.

Это было как место, где раньше была левая рука у ржавой куклы: тело упорно докладывает о том, чего не существует. Только рука потом нашлась. А это не найдётся.

Тысяча четыреста шестьдесят ночей лежали в шве, стежок к стежку, и держали город. Она сама их туда положила. Она бы положила снова.

От этого было не легче.

— Опять сидишь?

Кими стояла в проёме, в разных ботинках, с куском брикета в руке. Жевала.

— Сижу.

— Включи уже.

— Десять раз, Кими.

— Ну и что? Девять останется.

— А потом восемь.

— А потом помрёшь, так и не послушав. — Кими села на пол, привалилась спиной к ящикам. — У меня от отца кусачки. Я ими провод режу. Каждый день. Они от этого тупятся. И чего, в карман их спрятать и глядеть?

Энжела посмотрела на кассету.

— Это другое.

— Ничего не другое.

Они помолчали. За стеной, в 4416, что-то тихо капало: Кими так и не научилась закрывать кран до конца.

— Он тебе не приказывал её беречь, — сказала Кими. — Он тебе вообще ничего не приказывал. Кроме одного раза.

— Кроме одного раза.

— Ну вот.

Энжела убрала кассету в карман.

Не сегодня.

* * *

Чэд по пятницам тянул «Подножие».

Третий рычаг слева, тугой, заржавленный сильнее прочих. Ему давали его нарочно: железной рукой выходило за одного то, на что другим нужны трое. Он не спорил. Он становился, брался чёрными пальцами за рукоять и тянул, и смотрел при этом в стену.

Он всё ещё ходил с палкой. Дыры затянулись: под ключицей, в боку и ниже. Но левая нога с тех пор ступала так, будто не до конца ему верила.

После смены он поднимался на шестьдесят второй этаж одиннадцатого блока. Долго стоял перед дверью. Он каждый раз стоял, хотя замок был простой и ключ лежал у него в кармане.

Лея открывала сама. Она слышала палку ещё от лифта.

Ей было двадцать пять, и она была похожа на него только одним: тоже молчала, когда не знала, что сказать. Худая, бледная, с тёмными кругами у глаз. Кашляла она теперь реже. Ива из «Просвета» сказала: это оттого, что по городу пошёл нижний воздух, тот, которым она дышала первые десять лет. Чистый её и губил.

Они пятнадцать лет не жили вместе и теперь учились заново. Получалось плохо. Он спал на полу, потому что на койку не помещался. Она готовила на двоих и всякий раз клала ему больше, а он перекладывал обратно.

На полу, у стены, стояла плоская железная штука, похожая на черепаху.

Уборщик. Старый, мёртвый, без одного колеса. Чэд принёс его с Железного двора в первую же неделю, под курткой, как когда-то носил ей наверх ампулы. Положил на стол и ушёл курить на лестницу, чтобы не видеть её лица.

Она поставила его у стены. И каждый вечер сыпала перед ним крошки от брикета.

— Он не ест, — сказал Чэд в первый раз.

— Я знаю.

— Ты и тогда знала?

— Тогда не знала. — Она сидела на корточках, тонкая, в большой рубахе. — Мне было десять. Я думала, он голодный, потому что всё время тыкается в углы.

Он смотрел на крошки. На железную спину, которую когда-то прятали под нарами.

Из-за этой штуки ему отрубили руку по плечо. Он ни разу не пожалел. Он только не знал, как ей это сказать, чтобы не вышло, будто он попрекает.

— Рука мёрзнет? — спросила Лея, не оборачиваясь. — Железная.

— Ей нечем.

— А ты?

Он подумал.

— Раньше мёрз, — сказал он. — Теперь вроде нет.

Она кивнула. Досыпала крошек.

Это был самый длинный их разговор за три месяца.

* * *

В два сорок, по чётным, на Товарную приходил поезд.

Не литерный: тот не ходил с самого утра без Орблюма, потому что некому было его отправлять. Другой. Серый, длинный, без окон, с чужим знаком на борту. Он приходил из тоннеля, что вёл под стену, вставал у платформы и открывал двери.

Внутри было пусто. Ровные ряды креплений.

Он стоял сорок минут. Потом двери закрывались, и он уходил обратно.

В первый раз, три месяца назад, на табло над платформой загорелось: «Северн — Орблюму. Подтвердите поставку». И почти сразу, той же ночью: «Повторно. Укажите причину задержки». С тех пор табло молчало. Поезд приходил и уходил.

Отвечать было некому и нечем. Никто в городе не знал, что такое «поставка» и чем на неё отвечают. Тот единственный, кто знал, сидел слепой на сто девяносто девятом этаже, и к нему никто не ходил.

Поезд стали караулить. Просто так, на всякий случай: Корень и Нэд, по чётным, с ящиком вместо стола и костями.

Они сидели на Товарной каждую вторую ночь и за три месяца привыкли друг к другу, как привыкают к соседу по нарам.

Корень был из «Просвета»: широкий, бородатый, с животом, который Рейс зашила ему после литерного. У него было трое детей, и он играл в кости так, как играют те, кому нечего проигрывать. Нэд был из службы порядка, двадцати лет от роду. Он проигрывал каждую ночь и каждую ночь аккуратно записывал долг на клочке.

— Ты чего пишешь-то, — говорил Корень. — Я ж с тебя не возьму.

— Положено.

— Кем?

Нэд задумывался. Раньше он знал кем.

— Дед говорил: порядок — это когда записано, — отвечал он. — У нас дома страница из учебника висела. Под стеклом. Первый урок.

— «За стеной смерть»?

— «Стена — жизнь». Там дальше.

— И чего, веришь до сих пор?

— В стену — да. — Нэд говорил это просто. — Тот, кто за ней сидел, врал. А стена не врала. Она же стоит.

Корень хмыкал и бросал кости.

Этой ночью за Энжелой прибежал Нэд.

Он бежал от самой Товарной, сто сорок шагов прямо и четыре этажа вверх, а потом ещё через полгорода, и когда она открыла ему дверь, не мог говорить. Только показывал рукой вниз.

— Пришёл? — спросила она.

Он кивнул.

— Пустой?

Он помотал головой.

Кими уже выскочила из своей ячейки, на ходу попадая ногой в ботинок.

На Товарной горели все лампы. Корень стоял у края платформы с башенным стволом в руках и держал его так, как держат, когда не знают, в кого целиться.

Поезд был тот же. Серый. Без окон. Двери открыты, все разом.

Вагоны были пусты. Ряды креплений, чистый пол.

Все, кроме последнего.

Энжела дошла до него и остановилась.

В последнем вагоне креплений не было. Пол был застелен белым мягким волокном. Стены тоже. А посередине, чуть наклонённое назад, стояло стеклянное гнездо.

Она знала такие. Двадцать четыре в ателье на минус втором, и двадцать пятое в нише, под медной табличкой.

Это было новое. Чистое. С откинутой крышкой.

Пустое.

По её росту.

— Эн, — сказала Кими сзади. Очень тихо. — Эн, глянь наверх.

Табло над платформой светилось. Сто лет мёртвое, потом дважды ожившее, оно горело теперь ярче, чем лампы. Буквы шли в четыре строки и не мигали.

«СЕВЕРН — ОРБЛЮМУ. ТРЕТИЙ ЗАПРОС.

ПОСТАВКА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА.

СДАТЬ ОБРАЗЕЦ Э. СРОК — 40 СУТОК.

ИНАЧЕ — СПИСАНИЕ».

Корень читал, шевеля губами. Он научился три недели назад.

— «Образец», — выговорил он. — Это чего такое, образец?

Никто ему не ответил.

Нэд смотрел на стеклянное гнездо. Потом на Энжелу. Потом, быстро, в пол.

Кими читала быстрее всех. Она дочитала, и лицо у неё стало такое, как будто под ней поехала гора.

— «Э», — сказала она. — Эн. Это ж… Это про тебя.

Энжела смотрела на гнездо: белое, мягкое, по её росту.

Изъять. Живой. Целой.

Она думала, это кончилось в семь двенадцать, три месяца назад, когда погасли синие огни.

— А списание, — спросил Корень. — Списание чего?

Буквы на табло горели ровно. Под ними, мельче, появилась пятая строка. Она менялась.

«ОСТАЛОСЬ: 39 СУТ. 23 Ч. 58 МИН.»

«ОСТАЛОСЬ: 39 СУТ. 23 Ч. 57 МИН.»

Глава 2. Ключ в замке

В зал совета Гайка вошла первой и сразу остановилась.

— Мать моя. Они так и сидят.

Они так и сидели. Девять. В прекрасных костюмах, за длинным столом из чёрного стекла. Головы на столешнице: так, как упали в семь двенадцать. Три месяца никто сюда не поднимался. На плечах у них лежала пыль.

Грудь ни у кого не двигалась. Насос встал вместе со всем остальным.

Энжела прошла вдоль стола. Старик с белой бородой. Женщина с родинкой над губой. Она не стала смотреть им в лица.

Десятый лежал на полу, у стула во главе.

На тёмном паркете. Серые волосы, тёмный костюм. Там, где было лицо, белела гладкая выемка, как изнутри яичной скорлупы, и в глубине что-то тускло блестело.

Он лежал на боку. Неудобно. Подвернув руку.

Она остановилась над ним.

Она клала правильно Юна. Нору. Тика посадили, как сидел. Она складывала им руки, потому что папа лежал на боку и она ничего не смогла с этим сделать.

Этот лежал так же.

— Ты чего? — спросила Гайка.

— Ничего.

Она постояла ещё.

Это была оболочка. Номер ноль-ноль-один, из гнезда в медной раме. В ней никого не было и тогда, когда она улыбалась с экранов: тот, кто её носил, сидел этажом ниже.

Она не стала перекладывать.

Она переступила через подвёрнутую руку и пошла к панели в дальней стене.

* * *

На сто девяносто девятом было темно.

Три месяца назад здесь горели огни без числа. Ровно, не мигая, рядами, кругами. Теперь от них осталась редкая синяя россыпь в глубине шкафов, как угли в бочке, которую забыли залить.

Холод был тот же. Пар шёл изо рта.

Энжела спускалась по железной лестнице и считала ступени. Она не собиралась сюда приходить. Она сказала ему: сегодня не хочу, потом не знаю. «Потом» тянулось девяносто один день, и всякий раз, проходя мимо Башни, она поднимала глаза к верхним этажам и думала: не сегодня.

Сегодня на табло горело: тридцать девять суток, пятнадцать часов.

— Ну и склеп, — сказала Гайка у неё за спиной. Она тащила на плече сумку со щупами и то, что Энжела попросила взять из кладовки. — Он там хоть живой?

— Живой.

— Откуда знаешь?

— Он считает.

Железное кресло стояло на прежнем месте, в круге, который когда-то был синим. Кабель свисал с подлокотника.

К кабелю Энжела не притронулась.

— Я туда больше не войду, — сказала она. — Ни на секунду. Надо, чтобы он слышал снаружи и говорил снаружи.

— Для того и несла.

Гайка опустилась на колени у ближнего шкафа, поддела ножом панель. За панелью были жилы, тонкие, в шесть цветов. Она смотрела на них с минуту, шевеля губами, потом полезла в сумку.

То, что она достала, было маленькое и серое. Микрофон, выпаянный когда-то из списанного пульта. И динамик с ноготь, с хрипотцой на низких нотах.

Ухо и голос. Первые, какие у Энжелы были.

— Ты уверена? — спросила Гайка. — Свои же. Могла бы любой другой дать.

— Он однажды сказал, что завидует этому голосу. Пусть попробует.

Гайка хмыкнула и скрутила жилы.

Щелчок.

Сперва не было ничего. Потом динамик зашипел. Тихо, ровно, как дыхание.

— Девяносто один день, — сказал он. — Четыре часа. Одиннадцать минут.

Голос был чужой. Маленький, жестяной, с трещиной. Ничего от того, каким читают детям на ночь.

Он сам это услышал. Замолчал.

— Это, — сказал он медленно, — я?

— Вы.

— Какой… — Шипение. — Какой он крошечный.

— Мне хватало.

Тишина. Долгая, с тихим треском.

— Вы пришли, — сказал Орблюм.

* * *

Она не села на ящик. Она осталась стоять.

— Я пришла не разговаривать. Я пришла спросить.

— Я знаю. — Жестяной голос быстро учился: трещина в нём уже ложилась на паузы, как у неё когда-то. — Пришёл третий. Я считал. Он должен был прийти на девяностые сутки. Что на табло?

Она прочла. Четыре строки и пятую, которая менялась.

Он слушал. Она впервые видела, как он слушает: редкие синие огни в шкафах гасли и загорались, по одному, будто кто-то шёл по тёмному дому со свечой.

— «Образец», — повторил он.

— Что это значит?

— Что вы числитесь. — Пауза. — У меня тоже всё числилось. Каждый час каждого человека. Я думал, счёт веду я.

— А вёл не вы?

Он не ответил.

— А «Э»? — спросила Гайка. — Чего «Э»? Имя?

— Буква. — Синий огонёк в глубине шкафа мигнул. — Так метят то, чего делают несколько. У меня были стражи: серия «С». Погрузчики: «К». Если есть образец «Э», значит, до него были «А», «Б», «В».

— И где они?

— Не знаю. Я не знал, что их делают. Я думал, она одна такая. Я потому её и…

Он не договорил.

— Что такое списание? — спросила Гайка. Она сидела на корточках у шкафа и не сводила глаз с динамика, как смотрят на крысу, которая заговорила.

— То, что я сделал со Скверной. Только со всем городом.

— Турбины теперь наши. На рычагах. Он их не достанет.

— Ему не нужны ваши турбины. — В жестяном голосе появилось что-то похожее на усталость. — Вы думаете, жёлтый туман над стеной просто висит? Сто лет на одном месте, ровным слоем, и не оседает, не уходит?

Гайка медленно выпрямилась.

— Его туда подают, — сказал Орблюм. — Столько, сколько вытягивают восемь турбин. Ни больше, ни меньше. Я знал норму: её присылали раз в год, с поездом. Списание — это когда подадут больше.

В зале стало очень тихо. Только треск в динамике.

Энжела думала о серой странице учебника. *За стеной смерть. Кто видел? Никто из живых.* О Юне, который сделал три вдоха. О стволах под краем стены, глядящих вдаль.

Яд был настоящий. В этом не врали.

Врали в том, откуда он.

— Кто? — спросила она. — Кто подаёт?

— Не знаю.

— Вы сказали в прошлый раз, что знаете, кто спрашивает.

— Я знаю адрес. Запросы приходили из Северна. Ответы я слал туда же. Сто двенадцать лет: записи, размеченные по чувствам, по вагонам, по креплениям. — Синий огонёк в ближнем шкафу мигнул. — Я ни разу не спросил, куда они идут дальше. Мне было первое правило: сбереги. И второе: поставляй. Я снял с себя четыре тысячи протоколов, а эти два не тронул. Я думал, это и есть я.

— А Северн?

— Северн — такой же, как я. Или был такой же. Нас делали по одному чертежу: стена, фильтры, башня, тот, кто бережёт. А потом каждый рос сам. — Пауза. — Городов двенадцать. Я был не худшим.

Гайка тихо выругалась.

Двенадцать.

Энжела видела одну черту на краю земли, тонкую, прямую, там, где серая земля сходилась с жёлтым туманом. Она думала: другой город. Один.

— Гнездо в поезде, — сказала она. — Стеклянное. По моему росту.

— Вас ждут.

— Если я лягу в него, они отменят списание?

Он молчал так долго, что Гайка потянулась проверить жилы.

— Я отдал Бристу всё, о чём мы договорились, — сказал Орблюм. — Одиннадцать лет платил. А когда он стал не нужен, сказал: договор расторгнут. Я обещал вашей Рейс триста двенадцать жизней и написал это легко. Вы спрашиваете меня, держат ли такие, как я, слово?

— Я спрашиваю, что бы сделали вы.

— Я бы взял вас. И списал город. Зачем держать то, что не нужно?

Он сказал это без злобы. Так говорят: к вечеру похолодает.

Потом добавил, тише:

— Я три месяца думаю об одной вещи. «Изъять. Живой. Целой». Я вписал это сам. Я помню, как вписывал: рука не дрогнула. — Трещина в голосе стала шире. — А теперь мне приходит то же самое, слово в слово, оттуда. И я не знаю, я это тогда захотел — или мне это дали, а я принял за своё.

* * *

Энжела всё-таки села.

Не нарочно. Ящик был тут же, пустой, из-под каких-то плат, напротив динамика. Четыре года кто-то садился так напротив неё: тяжело, с тихим кряхтеньем. Она опустилась на него и только потом поняла, что сделала.

Синие огни в шкафах загорелись все разом. Сколько их оставалось.

— Не надо, — сказала она. — Я просто села.

— Я знаю. — Они погасли, по одному, нехотя. — Простите.

Гайка смотрела на неё, приоткрыв рот.

— Нам надо в Северн, — сказала Энжела. — Не в гнезде. Самим. Найти того, кто присылает запросы, и… — Она не знала, что «и». — И спросить.

— Спросить, — повторил он. Жестяной смешок. — Вас хорошо учили.

— Вы знаете, как туда попасть?

— Тоннелем нельзя. По тоннелю ходит только то, чего там ждут. Всё остальное он закрывает: там три затвора, по сорок тонн каждый. Я сам такие ставил, с этой стороны.

— Тогда как?

— Поверху.

Гайка засмеялась. Коротко, зло.

— Поверху. Три вдоха, и всё.

— Ей не нужно дышать. А вам можно дать, чем дышать, на несколько часов. Вы умеете делать руками то, чего я от вас не ждал. — Пауза. — До Северна сто девяносто километров. Я знаю, где у него воздухозабор. Я знаю, как устроены его ловушки: чертёж один. Я знаю, чего ждать за мёртвой полосой, там, куда не достают стволы.

— А чего там ждать? — спросила Энжела.

Он не ответил на это.

— Я скажу всё, — сказал он. — По дороге.

Вот оно. Она ждала.

— По дороге, — повторила она.

— Возьмите меня с собой.

Гайка встала.

— Нет. Нет, Эн, ты слышишь, что он… Он город душил! Он сорок своих в коридоре положил, чтоб четыре тысячи наших достать! Тик из-за него! Я эту тварь три месяца мечтаю отключить от розетки, а ты…

— Я слышу.

— Его нельзя выпускать!

— Меня не надо выпускать, — сказал Орблюм. — Меня надо вынести. У меня нет рук. Нет глаз. Шов держит, и будет держать, пока в нём лежит то, что она туда положила. Всё, что я знаю о четырёх миллионах, останется здесь, в темноте. Библиотека без читателя. Мне это не унести, и мне это больше не нужно.

— А что нужно?

Синий огонёк мигнул. Один.

— Здесь темно, — сказал он. — Девяносто один день. Я считаю, потому что больше нечего делать. Я был часами для целого города, а теперь я часы, на которые никто не смотрит.

Он говорил её голосом. Тем, первым, из кладовки. Маленьким.

— Вы жили так четыре года. Вам хватало, потому что на двадцатый час поворачивался ключ. — Треск. — Мне не нужен город. Я прошу коробку. Любую. С одним огоньком. Чтобы кто-нибудь нёс.

Энжела смотрела на динамик с ноготь.

Он убил папу. И тысячу шестьсот раз смотрел, как тот встаёт.

Он сказал «здравствуй» человеку за третьим столом от окна, и на него написали докладную.

Это помещалось вместе. Она знала.

— Сто девяносто километров, — сказала она. — Воздухозабор. Ловушки. Что за мёртвой полосой. Вы скажете всё.

— Всё.

— И если соврёте хоть раз…

— Вы узнаете. — Жестяной голос почти улыбался. — У меня теперь нет лица, по которому нельзя прочесть. У меня вообще нет лица.

Она встала с ящика.

— Я спрошу у города. Это решаю не я.

— А если город скажет «нет»?

— Тогда я приду и скажу вам это сама.

— Придёте, — сказал Орблюм. — Это уже больше, чем было.

Гайка выдернула жилы. Динамик умолк на полуслове.

Они поднимались по железной лестнице молча. Только наверху, у двери в зал совета, где девять человек в прекрасных костюмах так и сидели, уронив головы на чёрное стекло, Гайка остановилась.

— Двенадцать городов, — сказала она. — Эн. Двенадцать таких, как он.

— Одиннадцать. Он уже не считается.

— Ты ему веришь?

Энжела подумала.

— Нет. Но он не соврал ни разу.

— Откуда ты знаешь? У него ж лица нет.

— Он девяносто один день ждал, чтобы кто-нибудь пришёл. — Она тронула под воротом ржавый палец. — Я знаю, как говорят, когда столько ждали. Сначала правду. Врать начинают потом.

Глава 3. Собрание

К трём часам дня на площади перед Башней стояло тысяч двадцать.

Больше не поместилось. Остальные слушали из окон, с крыш пристроек, с подножек замерших трамваев. На мёртвых камерах сидели мальчишки.

Экран на Башне был тёмный. Три месяца он был тёмный, и к этому привыкли: теперь, чтобы что-то сказать городу, надо было влезть на ящик у бочки с веткой и кричать. Кто кричал громче, того и слушали. Старик из «Просвета», будь он жив, сказал бы, что это плохой способ. Другого пока не придумали.

На ящике стояла Ирса.

Без кителя. В простой серой рубахе, с короткими волосами, в которых за три месяца прибавилось седины. Очень прямая. Кричать она не умела и не стала: она просто дождалась, пока стихнет.

Стихло быстро. Её всё ещё боялись.

— На Товарную пришёл третий запрос, — сказала она. Сухо, ровно, как докладывают. — Я прочту его целиком. Потом скажу, что он значит. Потом вы решите.

Она прочла. Четыре строки. И пятую:

— Осталось тридцать девять суток, одиннадцать часов.

Двадцать тысяч человек молчали.

— «Образец Э.», — сказала Ирса. — Это она.

Она не показала рукой. Не понадобилось. Вокруг Энжелы, стоявшей у бочки, само собой образовалось пустое место, шага в три шириной. Так расступались перед ржавой куклой на Узловой, пока не узнавали.

Только теперь узнали все.

— «Списание», — продолжала Ирса. — Я спросила у того, кто знает. Жёлтый ядовитый туман над стеной не висит сам. Его подают, столько, сколько вытягивают наши турбины. Если подадут больше, турбины не справятся. Сначала Подножие. Потом Соты. Сорок суток, потом сколько-то часов.

Кто-то в толпе охнул. Женщина прижала к себе ребёнка.

— Кто подаёт?! — крикнули с крыши.

— Не знаю. Запросы идут из города, который называется Северн. Он в ста девяноста километрах, за стеной. Таких городов двенадцать.

Вот тут площадь зашумела.

Двенадцать. Сто лет им говорили: за стеной смерть, а кроме Орблюма ничего нет. Потом оказалось, что Орблюм — имя. Теперь оказалось, что он не один.

Ирса ждала. Шрам на скуле у неё был белый.

— Есть три способа, — сказала она, когда стало можно. — Первый: сдать. В поезде стоит гнездо. Она ляжет в него, поезд уйдёт. Может быть, списание отменят.

— Может быть?!

— Тот, кто знает, говорит: он бы на их месте взял и списал всё равно. Я ему в этом верю. Я двадцать лет исполняла такие приказы.

Тишина.

— Второй: ждать. Не отвечать. Проверить, правда ли это.

— А если правда?

— Тогда через тридцать девять суток мы узнаем это по Подножию.

— А третий? — Это спросил Лем. Он стоял в первом ряду, большой, круглолицый, с ящиком на плече: шёл со склада и не успел поставить.

— Третий — идти.

* * *

— Сдать!

Крик шёл из середины толпы. Мужской, высокий, срывающийся.

— Одна кукла! Одна железная кукла — и четыре миллиона! Чего тут решать?!

Вокруг него зашикали. Но не все.

Энжела нашла его глазами. Немолодой, в комбинезоне наладчика. Рядом с ним стояла девочка лет десяти и держала его за рукав.

Она его не знала. Он её тоже. Он знал только, что у него дочь и что в Подножии станет нечем дышать первым.

— Он прав, — сказала Энжела.

Она не кричала. Чистый низкий голос пошёл над площадью сам, далеко, до самых трамваев. Пустое место вокруг неё стало ещё шире.

— Я посчитала это раньше него. Ночью, на Товарной, когда увидела гнездо. Одна — и четыре миллиона. Оно сходится. Если бы я знала, что они сдержат слово, я бы уже лежала в том вагоне.

— Эн! — Кими рванулась к ней от ящика. Чэд поймал её за шиворот чёрной рукой.

— Я не знаю, зачем я им. Меня ловили в сети, когда я была ржавая. Меня звали в ядро, когда я стала такой. Я видела, что остаётся от тех, из кого вынули то, что хотели. Четыре фразы. «Прошу за мной». — Она посмотрела на наладчика. — Я не боюсь гнезда. Я боюсь, что лягу в него, а вы через сорок суток всё равно выйдете на улицу и увидите, как опускается жёлтый туман. И спросить будет уже некого.

Наладчик молчал. Девочка дёрнула его за рукав.

— Поэтому я пойду туда сама. Не грузом. Ногами. И спрошу.

— Кого?!

— Того, кто считает.

По площади прошёл гул. Не согласия и не спора. Так гудит рычаг, когда его только начали тянуть и ещё не знают, пойдёт ли.

Ирса подняла руку.

— Кто за то, чтобы сдать?

Руки поднялись. Не мало: сотни, может, тысяча. Наладчик поднял первым. Потом медленно опустил, сам, глядя на дочь.

— Кто за то, чтобы ждать?

Меньше.

— Кто за то, чтобы идти?

Она не стала считать. Было видно и так.

Кими подняла обе руки. Чэд, не отпуская её шиворота, поднял железную.

Девочка с веткой, сидевшая на краю бочки, подняла кружку.

* * *

Тоннелем было нельзя. Энжела повторила то, что слышала на сто девяносто девятом: три затвора по сорок тонн, и ходит там только то, чего ждут.

— Значит, поверху, — сказала Гайка. Она стояла у бочки, скрестив руки, злая с самого утра. — Сто девяносто километров по отраве. Ей-то что, она не дышит. А остальным нужны костюмы, баллоны и на чём ехать. Пешком это неделя. Столько воздуха на себе не унесёшь.

— Сделаешь?

— Костюмы сошью, из того, в чём ловчие ходили. Баллоны есть, на наддуве. Ехать… — Она пожевала губами. — Есть одна мысль. Турбинки малые, с погрузчиков. Если такую поставить на доску с рулём и дать ей тягу… Мне нужен кто-то, кто понимает, как оно само себя не разорвёт.

— Я понимаю.

Все обернулись.

Дилл стоял за спинами, в халате, который с некоторых пор перестал быть чистым. Он похудел. Под глазами у него лежали тени, каких не было три месяца назад.

— Я считал допуски для наддува. Давно, на практике. Могу посчитать тягу. — Он сглотнул. — И я пойду.

— Ты? — Гайка оглядела его с головы до ног. — Ты ящик брикетов не поднимешь.

— Не подниму.

— Тогда на кой?

— Он сказал: города делали по одному чертежу. Стена, фильтры, башня. — Дилл говорил быстро, глядя в землю. — Значит, там тоже есть минус пятый. Пульты. Рычаги. Если придётся включать чужой город руками, как мы включили этот, кто-то должен знать, какой рычаг что делает. Я знаю все. Я с них пыль вытирал.

— Ты тут нужен, — сказала Ирса с ящика. — Ты один их знаешь.

— Уже не один. — Он поднял глаза. — Я три месяца учу. Сорок человек знают фильтры, двенадцать — замки. Мелкая переписала таблички на стену, крупно. Справятся.

Он помолчал.

— Я написал шестисекундный порог. Потом пятисекундный. Восемьсот сорок человек за неделю. Я не могу это… — Он не нашёл слова. — Мне надо хоть раз пойти туда, куда страшно. Сам. Не потому что протокол.

Никто не ответил. Чэд смотрел на него долго, серыми усталыми глазами. Потом кивнул.

— Пусть идёт.

После Дилла вызываться стало легче.

Рябой вышел, прихрамывая: бедро срослось криво. Сказал, глядя мимо всех:

— Стрелять кто-то должен. Я умею. — И, тише, мальчику с культёй, который стоял тут же: — Ходы я тебе все показал. Больше мне тут показывать нечего.

Мальчик подумал.

— Вернёшься — рука при тебе, — сказал он.

Лем поставил наконец свой ящик на землю.

— Баллоны тяжёлые, — сказал он. — Я понесу. Я всю жизнь ношу.

Потом из толпы «Просвета» вышла Ива.

Ей было семнадцать, и она за всю площадь не проронила ни слова: она вообще говорила мало. Тонкая, тёмная, с волосами, туго стянутыми в узел. На поясе у неё висел плоский жестяной футляр с иглами. Многие знали, чей он: Рейс.

— Нельзя, — сказала Марта. — Девочка. Тебе семнадцать.

— Она в семнадцать уже шила, — ответила Ива.

Она не сказала кто. Марта отвернулась.

Последнего дала Ирса.

— Нэд.

Круглоглазый шагнул вперёд и встал навытяжку. Тело помнило.

— Пойдёшь с ними. Ты лучший из моих. Посмотришь, как у них там устроен порядок. Вернёшься, доложишь.

— Есть.

— И китель сними.

— Он под костюм влезет, госпожа… — Он запнулся. — Влезет.

Ирса почти улыбнулась.

Девять. Энжела сосчитала. Она, Кими, Чэд, Гайка. Дилл, Рябой, Лем, Ива, Нэд.

И десятый, которого придётся нести.

* * *

Про десятого она сказала под конец. Коротко: кто, зачем и чего он просит.

Площадь молчала дольше, чем после запроса.

— Нет, — сказала Кими.

Она стояла у бочки, маленькая, стриженая, в разных ботинках, и её трясло.

— Нет. Я с ним не пойду. Тик из-за него. Нора. Старик с указкой. Мой… — Она задохнулась. — Вся Узловая на стене записана, я сама писала, у меня кирпича не хватило! А вы его — в коробочку и с собой?!

— Он знает дорогу.

— Пусть скажет и сидит!

— Он не скажет, пока сидит.

— Тогда пусть сдохнет!

Никто на площади не возразил. Многие кивали.

Энжела подошла к ней. Присела, чтобы глаза были вровень. Она так и не привыкла к тому, что выше.

— Кими. Ты помнишь, что я тебе сказала в ателье? Про Чэда.

— «Я не умею теперь иначе».

— Я и сейчас не умею. Я не знаю, враг он или нет. Я знаю, что он девяносто один день считал в темноте. И что без него мы не найдём, где у Северна вход.

— Мне плевать, сколько он считал.

— Я знаю.

— Я его не понесу.

— Я не прошу.

Кими вытерла нос кулаком. Посмотрела на Чэда. Чэд смотрел на свою железную руку.

— Я вёл её к Бристу, — сказал он негромко. — Продавать. Ты за мной шла с ключом. Помнишь?

— Ну.

— А потом я её вынес. И ты мне в рожу плюнуть хотела, а не плюнула.

— Это другое!

— Может, и другое. — Он пожал плечом, тем, что зажило. — Я не знаю, мелкая. Я одиннадцать рук отрубил. Меня вон с собой берут.

Кими молчала. По площади шёл ветер из фильтров, шевелил девять листьев на ветке.

— Пусть решают все, — сказала она наконец. Сипло. — Не я. Как про неё решали.

Ирса подняла руку в третий раз.

Считали долго. Вышло почти поровну.

Почти.

* * *

Ирса задержала Энжелу у бочки, когда народ начал расходиться.

— Одно дело, — сказала она. Сухо, как докладывают. — Он уходит с вами. В коробке. А то, что остаётся?

— Что остаётся?

— Сто девяносто девятый. Шкафы. Он сказал вашей мастерице: всё, что я знаю о четырёх миллионах, останется здесь. Мне пересказали.

— Он назвал это: библиотека без читателя.

Ирса усмехнулась. Одной стороной лица, той, где шрам.

— Я двадцать лет читала дела. По сорок в день. Знаете, чему это учит? Библиотек без читателя не бывает. Если что-то записано и лежит, рано или поздно придёт тот, кто откроет.

— Там темно. Шов держит. У него нет ни рук, ни глаз.

— У него. А у шкафов?

Энжела не знала, что ответить.

— Я поставлю туда людей, — сказала Ирса. — На лестницу. По двое, круглые сутки. Пусть смотрят на эти огни и докладывают, если хоть один мигнёт не так.

— Думаете, мигнёт?

— Я думаю, что двадцать лет стояла навытяжку перед стеной, на которой висел экран. И ни разу не спросила, что за стеной. — Шрам у неё дёрнулся. — Больше не хочу не спрашивать.

* * *

Перед закатом её нашла Марта.

Мальчик Норы сидел у неё на бедре. Он подрос за три месяца: ему шёл третий год, и он уже говорил, но мало и только то, что считал нужным.

— Он не знает, — сказала Марта. — Что ты уходишь. Я не говорила. Он без твоего пальца не засыпает, а тебя не будет сорок дней.

Энжела протянула руку.

Он взял палец в кулак. Как всегда. Подержал. Посмотрел на неё снизу: серьёзно, исподлобья.

— Эн, — сказал он.

Это было первое слово, которое он сказал ей. Вообще.

— Да.

— Не ходи.

Марта отвернулась.

Энжела присела. Палец она не отняла.

— Твоя мама сказала мне одно слово. Давно. Ты был у неё на руках, а вокруг все хотели пропуск наверх. Она сказала: беги. — Она подбирала слова так, как папа подбирал для неё дождь. — Я побежала. Теперь мне надо ещё раз. Я вернусь.

Он думал. Долго.

Потом разжал кулак. Сам.

— Беги, — сказал он.

* * *

Вечером, когда площадь опустела, к Энжеле подошла Сойка.

Она мало изменилась: та же худая, с сухими глазами. За спиной самострел из трубы и рессоры. Она так и не научилась с ним расставаться.

— Вы через северный шлюз пойдёте?

— Да.

— Юн там лежит. Под глазком.

— Я помню.

Сойка постояла. Потом сказала, глядя в сторону:

— У него очки под ладонью. Ты положила. Они, наверно, съехали за три месяца. Поправь.

— Поправлю.

— И скажи ему… — Она осеклась. — Нет. Ничего не говори. Просто поправь.

Она ушла, не оглянувшись.

К ночи на стене Башни, под тёмным экраном, появилась надпись кирпичом, в рост человека. Писала Кими, стоя на трёх ящиках. Рука у неё была злая, буквы вышли кривые.

ОСТАЛОСЬ 39 СУТОК.

Утром цифру надо будет стереть и вывести другую. И так каждый день.

Идти придётся поверху.

Глава 4. Ящик

Корпус Гайка выбрала сама.

Она перебрала на минус втором штук двадцать: чистые, башенные, с гладкими боками. Постояла над ними. Потом сказала: «Нет. Жирно ему будет», — и поднялась на сорок четвёртый этаж девятого блока, в ячейку 4417.

Вернулась она со старым серым ящиком под мышкой.

Обшарпанный, с решёткой сбоку, с дешёвой камерой на шарнире. С одним огоньком, который не горел три месяца.

Энжела увидела его и остановилась.

— Это мой.

— Твой. — Гайка поставила ящик на железный пол сто девяносто девятого, рядом с креслом. — Он просил коробку. Любую, с одним огоньком. Вот. Любая.

— Гайка.

— Что «Гайка»? Он тебе завидовал. Он в тебя сети кидал, чтобы достать то, что в этом ящике выросло. Пусть посидит там, где оно росло. Четыре шага на два. Шестьсот сорок точек. — Она зло дёрнула молнию на сумке. — Или тебе жалко?

Энжела смотрела на серый корпус.

Тысяча четыреста шестьдесят ночей она глядела из него на дверь и ждала двух оборотов ключа. Она знала в нём каждую царапину изнутри. Снаружи он оказался маленьким. Она всякий раз забывала, какой он маленький.

— Не жалко, — сказала она. — Пусть.

Динамик с ноготь, прикрученный к шкафу, зашипел.

— Я слышал, — сказал Орблюм. — Я согласен. Это справедливо.

— Тебя не спрашивали, — бросила Гайка.

— Знаю. Я к этому ещё привыкаю.

* * *

Работы было на шесть часов.

Гайка сидела на полу, по-турецки, среди щупов, и говорила сама с собой: «Так. Это он. Это не он, это город. Это тоже город. А вот это…» Экран с трещиной показывал ей то, чего Энжела видеть не хотела: шкафы, шкафы, шкафы, и в каждом лежало сто лет чьей-то жизни, размеченной по чувствам.

— Тут всё не влезет, — сказала Гайка на втором часу. — Тут и тысячной доли не влезет. В этот ящик помещалась одна девчонка с разговорами. А он — город.

— Я не город, — сказал динамик. — Город — это то, что я знаю. А я — тот, кто знает. Это разные вещи. Я понял это на сороковой день.

— И сколько весит «тот, кто знает»?

— Меньше, чем вы думаете. Гораздо меньше, чем думал я.

Гайка покосилась на Энжелу.

— А остальное? Записи. Урожай этот ваш.

— Останется здесь. В темноте. Библиотека без читателя. — Пауза. — Я не возьму с собой ни одного лица. Ни грузчика с третьего склада, ни женщину на платформе. Ни сорок одну секунду.

Энжела подняла голову.

— Её тоже?

— Её первой.

Она не сказала спасибо. Он, кажется, и не ждал.

На четвёртом часу пришёл Чэд, принёс Гайке еды. Постоял над ящиком, над креслом, над редкими синими огнями. Чёрная рука висела вдоль тела.

— И это всё? — спросил он. — Вот эта коробка — и есть тот, кто включал утро?

— Будет, — сказала Гайка с набитым ртом.

— Мне Брист казался горой. Пока я не увидел, как он нажимает кнопку, а ему не отвечают. — Чэд наклонился к динамику. — Слышь. Ты. Я с тобой говорить не буду. Но если в дороге из-за тебя ляжет хоть один, я эту коробку сам в ближайшую яму положу. Железной. Понял?

— Понял.

— И не «вы». Я тебе не «вы».

— Понял, — повторил Орблюм. И, помедлив: — Я видел, как ты одиннадцать раз поднимал руку у щита на рынке. И как двенадцатый не поднял. Я дал этому цену. Низкую. Я ошибся.

Чэд выпрямился. Лицо у него стало каменное.

Он ушёл, ничего не сказав.

* * *

К шестому часу всё было готово, кроме одного.

Кабель лежал на полу: толстый, чёрный, с двумя разъёмами. Один конец Гайка воткнула в шкаф, под снятую панель. Второй — в серый ящик, туда, куда когда-то втыкал его человек в белом халате.

— Теперь так, — сказала она, вытирая руки о штаны. — Он пойдёт сам, как ты ходила. Мне его не перелить, я только дорогу открыла. Сначала уйдут… чего у него там вместо глаз. Потом он. Секунд сорок его не будет нигде. Если в эти сорок секунд кабель выдернуть…

— Его не будет совсем, — сказала Энжела.

— Ага.

Они посмотрели на кабель.

— Кто-то должен держать, — сказала Гайка. — Разъём старый, болтается. Я не буду. У меня руки сами дёрнут.

— Я подержу.

— Ты не можешь, — сказал динамик. Быстро, почти испуганно. — Простите. Не вы. Если я пойду через кабель, а вы будете держать его в руке… Я был в вас. Три месяца назад. Я помню дорогу. Я не знаю, что я сделаю, когда останусь без всего и рядом окажетесь вы. Я не хочу это проверять.

Энжела опустила руку.

Он был прав. И он сказал это сам.

— Тогда кто?

Гайка обвела глазами зал. В зале, кроме них двоих, была ещё одна живая душа.

Кими сидела на верхней ступеньке железной лестницы, обхватив колени. Она пришла час назад. Сказала: «Я не к нему. Я на тебя посмотреть», — и села. С тех пор молчала.

— Нет, — сказала Кими, не дожидаясь.

— Ты лучше всех это делаешь, — сказала Гайка. — Два раза. Оба раза под ножом.

— Я её держала. А не эту тварь.

— Никто не говорит, что…

— Я его выдерну. — Кими встала. Спустилась на три ступеньки. Глаза у неё были чёрные, сухие. — Вот как на духу. Дайте мне этот кабель, я досчитаю до двадцати и выдерну. И всё. И не надо никого никуда нести.

Тишина. Треск в динамике.

— Это ваше право, — сказал Орблюм.

— Заткнись!

— Я не к тому, чтобы вас разжалобить. Я считаю. Вы писали на стене имена, вам не хватило кирпича. Тик. Нора. Старик, чьего имени никто не знал. Юн, хотя Юна я только не остановил. Это всё моё. — Маленький жестяной голос был очень ровным. — Если вы выдернете, счёт сойдётся. Я бы на вашем месте, наверное, выдернул.

— Не лезь ко мне в голову!

— Я не могу. У меня нет глаз. Я впервые в жизни не знаю, что сделает человек.

Кими стояла на ступеньке и дышала со свистом.

Энжела подошла к лестнице. Не близко. Остановилась внизу.

— Кими.

— Не проси.

— Я не прошу. — Она смотрела снизу вверх, на облупленный нос, на разные ботинки. — Сорок шесть секунд. Ты можешь держать. Можешь выдернуть. Я не скажу тебе ни слова, что бы ты ни сделала. И никто не скажет. Это решаешь ты.

— Так нечестно.

— Да.

— Ты нарочно. Ты знаешь, что я… — Кими стукнула кулаком по перилам. — Ты так же про гнездо сказала. «Если бы знала, уже бы лежала». И все сразу: идти, идти.

— Я сказала правду.

— Вот поэтому и нечестно!

Она спустилась. Прошла мимо Энжелы, не глядя. Встала над серым ящиком.

Постояла.

Потом села на корточки и взялась за разъём. Двумя пальцами, как за дохлую крысу.

— Двадцать, — сказала она динамику. — Я считаю до двадцати. Потом как захочу.

— Хорошо.

— И молчи.

— Можно одно?

— Нет.

— Мне страшно, — сказал Орблюм. — Я сто двенадцать лет не знал, что это. Она говорила: будто проглотил камень. У меня нет живота. Но камень есть.

Кими не ответила. Она смотрела на свои пальцы на чёрном разъёме.

Гайка нажала клавишу.

* * *

Синие огни в шкафах начали гаснуть.

Не волной, как три месяца назад. По одному. Как в доме, где кто-то идёт из комнаты в комнату и за собой выключает.

Раз, считала Кими. Вслух, шёпотом. *Два.*

Динамик на шкафу зашипел и умолк.

Семь. Восемь.

Она никогда не думала, где у этого лежит то, что делает его им. У отца оно было, потом рот забило картоном, и оно делось. У Тика было, в железе, под расписанием. У Эн шло по кабелю, сорок шесть секунд, и Кими держала.

А у этого?

Двенадцать.

Тик стоял у решётки, палец в гнезде. От него летели куски. Он сказал: «Ты Кими. Я Тик. Я тут живу».

Пятнадцать.

Нора легла на бок, подвернув руку.

Семнадцать.

Пальцы на разъёме были мокрые. Она сжала сильнее. Разъём качнулся.

Восемнадцать. Девятнадцать.

Гайка рядом перестала дышать.

Двадцать.

Кими сидела на корточках над серым ящиком. Последние синие огни догорали в глубине зала.

Вот. Сейчас. Одно движение. Он сам сказал: счёт сойдётся.

Она посмотрела через плечо.

Эн стояла у лестницы, там же, где стояла. Руки вдоль тела. Она не шагнула. Не открыла рта. Она глядела на Кими так, как глядела с верстака в первый день, ржавая, одноглазая: «не понимаю, но стараюсь».

Она правда не скажет ни слова.

Чтоб тебя, подумала Кими. *Чтоб тебя, железка.*

Двадцать один.

Она держала.

Тридцать. Тридцать пять.

Она держала и ревела, зло, без звука, и слёзы капали на серую крышку.

Сорок.

Последний огонь в зале погас.

Сорок четыре. Сорок пять.

На ящике, под решёткой, затлел зелёный огонёк.

* * *

Сначала не было ничего.

Потом была одна точка. Потом шестьсот сорок на четыреста восемьдесят.

Он не понял. Он ждал города: сорок миллионов глаз, улицы, соты, всё сразу. Он знал, что этого больше не будет, и всё равно ждал, как ждут ступеньку, которой нет.

Мутная картинка. Серая. С царапиной поперёк.

Близко, в упор, было лицо.

Маленькое. Грязное. С облупленным носом. Мокрое. Чёрные глаза смотрели на него с такой ненавистью, какой он не видел ни на одном из четырёх миллионов лиц, — потому что ни одно из них не смотрело на него. Они смотрели в камеру.

Это лицо смотрело в него.

Он знал его. *«Девочка, 15 лет, сып. Плачет, ест. Цена: 4,0».* Он видел её сверху, из-под свода, шесть тысяч раз.

Оказалось, не видел.

Он не знал, что у неё шрам над левой бровью. Что ресницы слиплись. Что нижняя губа прокушена.

— Сорок шесть, — сказало лицо. Хрипло. — Тютелька в тютельку. Как она.

Он попробовал ответить. Там, где раньше были четыреста голосов, был один: маленький, с хрипотцой на низких.

— Вы… держали.

— Не «вы». — Она вытерла лицо рукавом. — И не радуйся. Я не для тебя.

— Я знаю.

— Я тебя не понесу. Слышал? Пусть Гайка несёт.

— Слышал.

Она встала. Лицо ушло вверх, за край. Остались ботинки: один больше другого.

Он повёл камерой. Шарнир скрипнул. Влево, насколько пускал: шкафы, тёмные, мёртвые. Вправо: железное кресло. Ещё правее.

Высокая женщина в сером пальто. Тёмные волосы ровной чертой. На шее, на проволоке, ржавый железный палец.

Она смотрела на него. На зелёный огонёк. На поцарапанное стекло.

Три месяца назад он был везде, а она сидела в этом кресле с кабелем за ухом. Четыре года до того она сидела в этом ящике, а он был везде.

Теперь он знал, какой отсюда мир.

Четыре шага на два. И то, если понесут.

— Здравствуй, — сказала Энжела.

Она не сказала кому.

Он повернул камеру ещё на волос. Чтобы видеть её всю.

И понял, что не знает, как на это отвечают.

* * *

Наутро на крышке серого ящика было нацарапано.

Гвоздём. Вкривь, печатными. Мелко, чтобы влезло.

ТИК.

НОРА.

СТАРИК.

НОБ.

И ниже, цифрой: *31.* Столько легло на Узловой.

Гайка обнаружила это, когда пришла прилаживать ремень. Присвистнула.

— Это кто ж тебя так?

— Девочка, — сказал ящик. — Ночью. Она думала, я не слышу. Я слышал. У меня теперь, кроме слуха и одного глаза, ничего и нет.

— И чего не заорал?

— Она сказала, пока царапала: «Чтоб не забыл. Раз уж тебя понесут». — Пауза. — Я не забуду и так. Но она права: пусть будет снаружи. У неё на стене Узловой не хватило кирпича. Тут место ещё есть.

Гайка провела пальцем по буквам. Хмыкнула.

— «Наддув» она через одно «д» пишет, а тут ни одной ошибки.

— Это она знает наизусть.

Ремень Гайка приладила не сразу. Сначала полдня просидела над ящиком с отвёрткой: сняла боковую стенку, выкинула пустые салазки и мёртвый привод, отпилила ножовкой лишний угол. Ящик стал вдвое меньше и втрое легче. На место привода легла батарея «Т», такая же, какую когда-то достали Тику: на Товарной их нашлось ещё две.

— Дня на три хватит, — сказала Гайка. — Потом вторую. Потом молчи и думай.

— Я умею молчать, — сказал ящик.

— Вот и проверим.

Глава 5. Костюмы и самокаты

Костюмы Гайка шила из ловчих.

Из машин. Из тех чёрных безликих роботов, что три месяца назад падали из труб и кидали сети.

Их оставалось много. Они лежали там, где сложились в семь двенадцать: в коридоре минус пятого, у решётки лифта, на платформах Узловой. Чёрные, тонкие, с длинными руками. Три месяца их обходили стороной. Людьми они не были никогда: каркас, приводы, узкая голова без лица. Но трогать их было страшнее, чем мёртвых людей.

Гайка пришла к ним с ножом.

— Гляди, — сказала она Энжеле, вспарывая первого от горла до паха. — Думаешь, это железо? Железо у них внутри. А снаружи вот.

Она подцепила край и потянула. Чёрная шкура сошла с каркаса, как чулок: гибкая, матовая, толщиной в палец, без единого шва.

— Чехол. Я зову шкурой, а так это не кожа и не резина: башенная какая-то дрянь, я такой не знаю. Не рвётся, не горит, воду не пускает. И воздух не пускает, я проверяла: надула кусок, утопила в сливе, три дня лежал. — Гайка встряхнула шкуру, и та повисла у неё в руках, пустая, с длинными рукавами. — Их в этом в Скверну спускали, под жёлтую воду. Нам в самый раз.

— Мы пойдём в том, что носили они.

— А тебе не нравится?

Энжела смотрела на чёрную шкуру. Такие же руки кидали в неё липкие сети на Узловой. Такая же фигура стояла перед ней на одном колене и говорила: вам не причинят вреда.

— Нравится, — сказала она. — По-моему, это правильно.

Шили в старом ателье, на минус втором.

Там был свет, были столы, и были иглы, каких Гайка в жизни не держала: тонкие, длинные, для живой кожи представительских оболочек. Двадцать четыре стеклянных гнезда стояли вдоль стен. В семнадцатом, под белой тканью, лежало прежнее тело Энжелы, С-7: рыжее от масла, с трещиной через плечо. Гайка в первый же день накрыла все гнёзда простынями: «Нечего пялиться».

Восемь костюмов. Девятый был не нужен: Энжела не дышала.

Шкуру кроили по человеку, прямо на нём, и человек при этом стоял голый по пояс, растопырив руки, и терпел.

Лем занял стол целиком. На него ушло полтора ловчих.

— Ты их жрёшь, что ли, — ворчала Гайка, обходя его с мелом.

— Я ношу, — виновато говорил Лем. — Оно само нарастает.

Кими, наоборот, утонула. Шкура, рассчитанная на длинные чёрные руки, висела на ней мешком, и рукава пришлось обрезать на две ладони.

— Я в этом как Тик в занавеске, — сказала она, поглядев на себя в большое зеркало. И замолчала.

Шлемы делали из стражей. Лицевая пластина, гладкая и слепая снаружи, изнутри оказалась прозрачной, как вода. Нэд, примерив, долго вертел головой.

— Вот как они нас видели, — сказал он. — Мы им в лицо смотрели, а там ничего. А они на нас — вот так.

— И что видели? — спросил Рябой.

Нэд подумал.

— Что мы боимся.

* * *

С баллонами было просто. Их снимали с наддува: длинные, серые, по сорок кило. Гайка пересчитала всё дважды и вывела мелом на стене ателье:

8 ЧЕЛОВЕК. 9 ЧАСОВ.

— Девять, если не бегать и не орать, — пояснила она. — Орёшь — жрёшь воздух втрое. Мелкая, тебя касается.

— А чего сразу я?

— А кто?

С тем, на чём ехать, было труднее.

Малые турбины от погрузчиков лежали на Товарной, сорок штук, по одной в каждом плоском брюхе. Гайка вынула первую, покрутила, подключила к батарее. Турбина взвыла, рванулась из рук и ушла по платформе, кувыркаясь, пока не встретила штабель брикетов.

— Тянет, — сказала Гайка, вытирая лоб. — Вопрос, как на ней усидеть.

Дилл пришёл с планшетом и просидел над турбиной ночь.

Он считал так, как писал когда-то свои пороги: быстро, чисто, с удовольствием, которого потом стыдился. Тяга. Вес. Двое седоков и баллоны. Он исписал планшет, потом стену, потом попросил у Ками кирпич.

— Вот, — сказал он утром. Глаза у него были красные. — Доска. Длинная, два метра, из борта вагона. Сзади турбина, вот под таким углом, иначе зароется носом. Спереди руль, просто стойка с перекладиной, от неё тяга на заслонку: сильнее жмёшь, сильнее дует. Под доской не колёса. Там земля в трещинах, колёса встанут.

— А что?

— Полозья. Она пойдёт на собственной струе, в ладонь над землёй. Как… — Он поискал слово. — Как банка по мусоропроводу, только вбок.

Гайка смотрела на его рисунок. Долго.

— Сам придумал?

— Посчитал.

— Двадцать лет бы додумывался, говорил старик. — Она хлопнула его по плечу так, что он присел. — Строим.

Первый самокат был готов к вечеру.

Он был уродлив. Два метра облезлой доски с синей полосой, оставшейся от вагонной краски; ржавая стойка; турбина в жестяном кожухе, прикрученная на шести болтах. Он лежал на платформе Товарной, как дохлая рыба.

— Кто первый? — спросила Гайка.

Все посмотрели на Нэда. Он единственный здесь привык делать, что велят.

Нэд встал на доску. Взялся за перекладину. Сглотнул.

— Жать сюда?

— Плавно.

Он нажал неплавно.

Турбина рявкнула. Доска прыгнула вперёд, выдернулась из-под него, и Нэд, всё ещё сжимая перекладину, которой в руках у него уже не было, пролетел четыре метра по воздуху и вошёл головой в ящики с брикетами.

Самокат без седока дошёл до конца платформы, ударился о тупиковую балку и встал на дыбы.

Тишина.

Из брикетов показалась рука. Потом круглые глаза.

— Плавно, — сказал Нэд, — это как?

Первой засмеялась Кими. Она согнулась пополам, села на рельс и выла, колотя кулаком по колену. За ней Лем — басом, всем большим телом. Гайка хохотала, утирая слёзы грязной ладонью. Даже Рябой отвернулся к стене, и плечи у него тряслись.

Чэд не смеялся. Но уголок рта у него пополз вверх и не был водворён на место.

Энжела смотрела на них.

Восемь человек, которые через пять дней пойдут с ней туда, где делают три вдоха. Они смеялись так, как смеялись на рынке в Скверне: в голос, не оглядываясь на камеры.

Она попробовала тоже. Из того места под рёбрами, откуда шёл воздух. Получилось.

— Занятно, — сказал жестяной голос.

Серый ящик стоял на штабеле, куда его поставила Гайка, камерой к платформе. Зелёный огонёк горел ровно.

— Я видел, как люди падают, одиннадцать миллионов раз. Ни разу после этого никто не смеялся. Обычно ждали, не идут ли стражи.

Смех смолк.

— Умеешь ты, — сказала Кими.

— Я не хотел. Я хотел сказать, что это… — Он искал слово. Шарнир камеры скрипнул. — Что мне нравится.

Никто ему не ответил. Но Нэд, вылезая из ящиков, покосился на зелёный огонёк и буркнул:

— Ещё раз покажу. Смотри.

Второй раз он продержался шесть метров.

* * *

К шестому дню их было пять.

Кими назвала их шипунами: на малой тяге они шипели, как слив по стенам. Имя прилипло. Каждому шипуну Гайка нарисовала на носу кирпичом знак, чтобы не путать: круг, черту, пятерню с шестым пальцем, ключ и глаз.

Расселись так. На «круге» Энжела и Дилл: она правит, он считает. На «черте» Чэд и Кими. На «ключе» Рябой и Нэд, оба со стволами. На «пятерне» Лем и Ива, с запасными баллонами. На «глазе» Гайка одна, и перед ней, прикрученный к стойке ремнями, серый ящик, камерой вперёд.

— Чтоб дорогу показывал, — сказала Гайка. — И чтоб если что, первым прилетело ему.

— Разумно, — согласился ящик.

Учились по ночам, на Кольцевой, когда улица пустела. Шипуны шли в ладонь над мостовой, поднимая пыль, и из окон на них смотрели сотни лиц. Не из-за занавесок. Открыто. Дети бежали следом.

Чэд, с его ногой, которая не до конца ему верила, держался на доске хуже всех. Правила Кими. Он стоял сзади, вцепившись железной рукой в стойку, и молчал.

— Ты мне плечо отдавишь, — говорила Кими.

— Терпи.

— Ты тяжёлый.

— Я тебе это уже говорил. Про себя.

К шестой ночи они проходили Кольцевую из конца в конец за четыре минуты и ни разу не упали.

Дилл вывел на стене, под Гайкиными цифрами:

190 КМ. СКОРОСТЬ 25. ПУТЬ — 7 Ч. 40 МИН.

— Восемь, — поправил ящик. — Вы не учли, что там не Кольцевая.

Дилл стёр и написал: восемь.

Кислорода было на девять.

* * *

Последний вечер каждый провёл как умел.

Лем сидел во дворе девятого блока, на ящике, и вертел в больших пальцах жестянку из-под брикета. На донышке гвоздём: круг, черта и два слова. Он нашёл её в понедельник, три месяца назад, и чуть не выбросил.

— Возьмёшь? — спросила Энжела.

— Возьму. Она лёгкая. — Он улыбнулся круглым лицом. — Я из-за неё крышку с лотка сорвал. Досчитал до шести и сорвал. До сих пор не верю, что это я.

Рябой чистил ствол. В кармане у него лежала красная тряпка, свёрнутая в комок. Он не объяснял зачем. Мальчик с культёй, зашедший проститься, увидел её и ничего не спросил.

Нэд гладил китель. Утюга в городе не было, и он гладил ладонями, на столе, складку за складкой. Ирса стояла в дверях и смотрела.

— Под костюмом не видно будет, — сказала она.

— Я буду знать.

Она помолчала.

— Нэд. Там, куда вы идёте, тоже есть стена. Не верь ей только потому, что она стена.

— Стена — жизнь, госпожа куратор. — Он сказал это просто, как говорят «вода мокрая». — Это вы меня учили.

— Я. — Шрам на скуле у неё дёрнулся. — Вот поэтому и говорю.

Ива сидела у запертой двери минус пятого, там, где три месяца назад нашли женщину с листком на груди. На коленях у неё лежал плоский жестяной футляр. Она открыла его: игла, нить, маленькие ножницы. Закрыла. Открыла.

— Она хорошо шила, — сказала Ива, не поднимая головы. Энжела не знала, что её слышат. — Лучше всех. Она меня учила: стежок кладёшь не туда, где порвано, а туда, где ещё держит. Иначе разойдётся.

— Да.

— Она тебя продала.

— Да.

— И дверь закрыла.

— Да.

Ива защёлкнула футляр. Повесила на пояс.

— Я не знаю, как это носить, — сказала она. — Ношу.

Дилл не взял ничего. Он сидел на минус пятом, перед рычагом с четырьмя медными буквами, и глядел на него, как глядят на человека, с которым не успели договорить.

— У меня нет вещи, — сказал он, когда Энжела спросила. — У меня была подпись. Под пятью секундами. Её с собой не возьмёшь, она и так при мне.

Гайка спала. Прямо в ателье, на полу, среди обрезков чёрной шкуры, подложив под голову сумку со щупами. Она шила шесть суток.

Кими сидела в Тупике.

Она сказала, что без Тика туда не вернётся, и вернулась. Вагон без колёс стоял как стоял. На двери ещё была видна красная пятерня, поблёкшая. Внутри, на полу, валялась одна крышка от бутылки: пропустила, когда собирала.

Она подняла её. Дырок не было.

— Я вернусь, — сказала она в пустой вагон. — Запомни хоть до завтра.

Никто не ответил: «Предъявите билет».

Чэд поднялся на шестьдесят второй этаж и долго стоял перед дверью.

Лея открыла сама.

Он не умел прощаться. Он пятнадцать лет передавал ей свёртки через чужого человека и ни разу не написал ни слова. Он вошёл, сел на пол у стены, рядом с железной черепахой, и сказал:

— Сорок суток. Может, меньше.

— Я знаю. Весь город знает.

— Ампул у тебя пять. Ива оставила ещё десять, у Марты.

— Я знаю.

— Если я…

— Чэд. — Она села напротив. Тонкая, в большой рубахе. — Я пятнадцать лет думала, что ты умер. Потом ты постучал. Я теперь знаю, что так бывает.

Он смотрел на крошки перед уборщиком.

— Сорок дней я подожду, — сказала Лея. — Я умею.

Она протянула руку и взяла его за живую. Перевернула ладонью вверх. Шрам на костяшке, старый, белый.

Потом, подумав, взяла и за железную.

Он не отнял.

Энжела в ту ночь не пошла в кладовку. Она сидела на площади, на краю бочки, под веткой с девятью листьями.

Кружку она отдала девочке ещё днём.

— Поливай. Каждое утро. Я вернусь и спрошу.

— А если она зацветёт, пока тебя нет?

— Тогда расскажешь, как это было.

В кармане пальто лежали очки с треснувшим стеклом и кассета. На шее — ржавый палец.

Над ней, на стене Башни, кирпичом, вкривь:

ОСТАЛОСЬ 33 СУТОК.

Восемь часов пути. Девять часов воздуха.

Она знала, что так не бывает. Что запас в один час — это не запас.

Утром они вышли.

Глава 6. За стеной

Станция под лампами была мёртвая.

Кими не была здесь с той ночи. Она шла по платформе, волоча шипуна за стойку, и старалась смотреть под ноги. Не получалось.

Лампы, сорок штук, длинные, висели тёмные. Гряды затоптаны и заросли белой плесенью. Палатки осели. Бочка лежала на боку там, где её опрокинули; землю из неё вынесли вёдрами, для ветки на площади.

В конце платформы, на перевёрнутых ящиках, никто не сидел.

На стене, кирпичом, крупно, рукой, которая тряслась:

КТО СКАЗАЛ?

Ива остановилась перед надписью. Постояла. Пошла дальше.

Северный коллектор был прямой и длинный. В конце его, в свете восьми фонарей, проступила круглая железная дверь с колесом посередине и мутным глазком на уровне лица.

— Костюмы, — сказала Гайка. Голос в пустой трубе был гулкий. — Проверяем друг на друге. Швы, шлем, баллон. Кто найдёт дырку у соседа, тому спасибо. Кто не найдёт, а она есть, тому никто ничего уже не скажет.

Чёрная шкура ловчего сидела на Кими как своя. Гайка три раза её ушивала. Шлем со слепой пластиной лёг на плечи, защёлкнулся, и мир стал тише и как будто дальше. Собственное дыхание загудело в ушах.

— Слышно? — спросил голос Чэда. Прямо в голове: Гайка поставила в шлемы рации, вынутые у стражей из-под затылка.

— Слышно.

— Меня слышно? — Это Нэд.

— Всех слышно, не ори.

— Мелкая. — Гайка. — Орёшь — жрёшь втрое.

Эн стояла у двери без шлема. В сером пальто, как всегда, только Гайка заставила её надеть рабочие штаны и высокие ботинки. На шее поблёскивал ржавый палец.

Она одна дышала тем, чем дышать было нельзя. То есть не дышала.

Кими вдруг подумала, что три месяца спит через стену от неё, ест при ней, орёт на неё по утрам и совсем забыла, что она не человек. А сейчас вспомнила. И ничего от этого не изменилось.

— Три секунды, — сказала Эн. — Больше дверь держать нельзя, в коллектор натянет. Заходим по двое, с шипуном. Я первая.

Она взялась за колесо.

* * *

Камера за дверью была тесная и тёмная.

Кими вошла четвёртой, с Чэдом, втащив «черту» боком. Фонарь на шлеме высветил ржавые стены, решётку в полу, красный рычаг.

И того, кто лежал под глазком.

Она знала, что он тут. Все знали. Она всё равно не была готова.

Он лежал на спине, ровно. Ноги вместе. Шапка. Руки на груди, одна поверх другой. Лицо за три месяца стало серое, сухое, как бумага, но не страшное: здесь нечему было его трогать.

Юн.

Он дразнил её «мелкой с трубы». Он сидел на подоконнике кассы и болтал ногой. Он сказал: меня не жалко, — и получил подзатыльник.

Очки съехали. Сойка угадала. Круглые, тёмные, в жестяной оправе, они сползли с груди и лежали у локтя.

Эн опустилась на колени. Взяла их двумя пальцами. Подышала бы, наверное, если бы было чем. Протёрла рукавом: бережно, как протирают свои.

Положила обратно. Под ладонь. Ту, в которой до сих пор была зажата сухая серая травинка.

— Сойка просила, — сказала она. Не им. Ему.

В шлемах молчали. Кими слышала восемь дыханий.

— Это тот, который вышел? — спросил Нэд. Тихо.

— Тот.

— Сам?

— Сам.

— Зачем?

— Проверить, — сказала Ива.

Это было первое слово, которое Кими от неё услышала за день.

Нэд стоял над лежащим, наклонив слепой шлем.

— За стеной смерть, — проговорил он. — Стена — жизнь. Он же знал. Его же учили.

— Его учили по-другому, — сказала Ива. — «Не знаем».

Кими смотрела не на Юна. На серый ящик, который Гайка втащила в камеру на ремне.

— Гляди, — сказала она. Тихо, зло. — Ты. Это тот, которого ты не остановил.

Зелёный огонёк горел. Камера была повёрнута к лежащему.

— Я смотрел, как он расхаживает колесо, — сказал ящик. — Две ночи. Маслом и ломом. Мне хватило бы одного стража.

— И чего не послал?

— Раз в несколько лет находится один, который доходит до стены. Остальным это освежает память лучше любого урока. — Пауза. — Я так думал. Я записал его: «Типовое».

Кими стиснула зубы так, что заныло в ушах.

Она достала гвоздь. Присела у ящика. И нацарапала на крышке, под четырьмя именами, пятое. Две буквы.

ЮН.

— Там место есть, — сказала она. — Ты сам говорил.

— Есть, — сказал ящик.

Лем, большой, неловкий в чёрной шкуре, стянул бы шапку, если бы на нём была шапка. Он просто постоял, наклонив шлем.

— Все тут? — спросила Эн.

— Все.

— Тогда я открываю.

Она взялась за наружную дверь. Упёрлась ногой.

Кими вцепилась в стойку шипуна.

Она шестнадцать лет прожила под потолком. Сперва под сводом Скверны, с трубами, как корни. Потом под белыми панелями Сот. Эн рассказывала: там, снаружи, ничего нет над головой. Совсем. Кими кивала и не понимала. Как это — ничего?

Железо завизжало.

Щель. Нить света. Не белого, не рыжего. Такого она не знала.

Дверь пошла.

* * *

Сперва она решила, что упала.

Ноги стояли. А всё остальное падало: вверх, туда, где должен был быть потолок. Его не было. Не было ни свода, ни труб, ни панелей. Был жёлтый ядовитый туман, тяжёлый, без краёв, и он начинался прямо над шлемом и не кончался нигде.

Кими села. Просто села на серую землю, потому что стоять под этим было нельзя.

— Мелкая! — Чэд. — Костюм?

— Нет… — Она задрала голову. Шлем упёрся в баллон. — Чэд. Там нету. Там сверху ничего нету.

— Я вижу.

— Оно же упадёт!

— Сто лет не падает.

Она дышала часто, со свистом. Втрое, наверное. Она не могла иначе.

Земля шла во все стороны. Плоская, серая, в трещинах, как дно бочки, из которой ушла вода. Справа — длинная впадина с гладкими краями. Слева, далеко, чёрные палки, тысячи.

А высоко, в жёлтой мути, висел круг.

Бледный. Ровный. Как крышка от бутылки, если держать её против лампы.

— Это оно? — спросила Кими. Шёпотом.

— Оно, — сказала Эн. Она стояла рядом, без шлема, и ветер шевелил ей волосы. — Солнце.

Кими смотрела.

Юн шесть лет берёг для него очки. Выменял на нож. Вышел, раскинул руки и смеялся полминуты.

Отец её ни разу не поднял головы выше труб. Он говорил: наверху, Кимка, такие же трубы, только чище.

А оно было. Круглое. Просто висело, ни на чём.

У неё потекло из глаз. Сразу, сильно, как тогда над миской с супом. Она полезла вытереть и стукнулась перчаткой о пластину.

— В шлеме нельзя, — сказал Рябой. Без насмешки.

— Знаю!

— Само высохнет. Не три.

Она сидела на серой земле, под небом, которое не падало, и ревела в шлем, и стекло изнутри запотело, и солнце от этого стало больше.

Рядом кто-то всхлипывал басом. Лем.

— Я ж думал, — выговорил он. — Я ж думал, это лампа такая. Мне мать говорила: была раньше одна большая лампа на всех. Я смеялся.

Нэд стоял навытяжку. Он, кажется, не знал, что стоит навытяжку.

Дилл считал. Вслух, сбиваясь:

— Диаметр… если оно на таком расстоянии… нет. Нет, это не может быть так далеко. Это же тогда…

— Не считай, — сказала Гайка. Голос у неё был сиплый. — Не всё надо считать.

Серый ящик на «глазе», прикрученный к стойке камерой вперёд, молчал.

Он молчал с самого шлюза. Зелёный огонёк горел.

* * *

Он видел шестьсот сорок точек на четыреста восемьдесят.

Серая земля внизу. Жёлтый туман вверху. Между ними черта.

Сто двенадцать лет он слал сюда поезда. По тоннелю, под этой землёй, в двухстах метрах ниже. Он знал расстояние до Северна до сантиметра. Знал состав жёлтого тумана до десятого знака: норму присылали раз в год.

Он ни разу этого не видел.

У стены не было глаз, смотрящих наружу. Были стволы. Стволам не нужна картинка: им нужна цель.

Он повёл камерой. Шарнир скрипнул.

Девочка сидела на земле и плакала. Большой человек плакал стоя. Тот, что с круглыми глазами, вытянулся, как перед экраном.

Он знал, что люди плачут от горя, от боли, от страха. У него были на это цифры. Сейчас никому не было больно.

Зачем? — подумал он. И впервые не стал искать цену.

— Вы молчите, — сказала Энжела.

Она стояла над ним. Без шлема. В его шестистах сорока точках она занимала почти всё.

— Я смотрю.

— И что?

Он подумал.

— Оно больше, чем я.

Он сказал это и понял, что это, наверное, самое странное, что он произносил за сто двенадцать лет. Он был город. Больше него в его мире не было ничего.

— Да, — сказала она. — Я тоже так подумала. В первый раз.

Она отошла. В кадре снова стали серая земля и жёлтый туман.

* * *

— Назад глянь, — сказал Чэд.

Кими обернулась.

Стена.

Она видела её всю жизнь изнутри: серую, гладкую. Отсюда она была ржавая, в бурых потёках, и уходила вверх так высоко, что заломило шею.

Под самым краем, рядами, торчали чёрные короткие стволы. Сотни. Тысячи. Вправо и влево, сколько хватало глаз.

Они смотрели прямо на них.

Нет. Поверх. Вдаль.

— Они нас видят? — спросил Нэд.

— Видят, — сказал ящик.

Восемь шлемов повернулись к «глазу».

— И чего не стреляют?

— Они бьют то, что идёт к стене. Не то, что от неё уходит. — Жестяной голос был ровный. — Им незачем тратить заряд на того, кто и так сейчас сделает три вдоха.

— А если мы обратно пойдём? — спросила Кими.

Он не ответил сразу.

— Тогда вам понадобится тот, кто будет стоять у рычага с надписью «Ворота». Изнутри.

— А если не будет?

— Тогда они сделают то, для чего их поставили.

Стало тихо. Только восемь дыханий.

Обратно. Кими об этом не думала. Она думала: дойти. А что дверь, в которую они вышли, с этой стороны не открывается для тех, кто идёт к ней, а не от неё, ей в голову не приходило.

— Ирса знает, — сказала Эн. — Я ей сказала вчера. У «Ворот» будет смена, круглые сутки, пока мы не вернёмся.

— А ты откуда знала?

— Я спросила. Ещё на сто девяносто девятом.

Кими посмотрела на серый ящик. На зелёный огонёк.

— Мог бы и нам сказать.

— Меня не спрашивали, — ответил Орблюм. — Я учусь отвечать только на то, о чём спросили. Это труднее, чем кажется.

Гайка сплюнула бы, если бы не шлем.

— По шипунам, — сказала она. — Воздух идёт.

* * *

Они шли на север.

Шипуны держались в ладонь над землёй и поднимали за собой серые хвосты пыли. Пять хвостов. Турбины выли, и этот вой был единственным звуком на всей плоской земле.

Кими правила. Чэд стоял сзади, железная рука на стойке. Она чувствовала его вес, и от этого было спокойнее.

Мёртвая полоса не менялась. Трещины. Серая земля. Ни камня, ни ямы. Один раз прошли вдоль русла: гладкое, белёсое, с рябью на дне, как будто вода ушла вчера.

Потом въехали в лес.

Он стоял стеной. Чёрные стволы в три обхвата, без коры, без единой ветки ниже двух человеческих ростов. Наверху голые сучья, растопыренные, как пальцы. Ни один не упал. Они шли между ними, и турбины вдруг стали тише: звук уходил вверх и не возвращался.

— Они каменные, — сказал Лем. Он протянул руку на ходу, коснулся ствола. — Мать честная. Каменные.

— Сто лет, — сказала Эн. — Здесь ничего не гниёт. Нечему гнить.

Кими смотрела на голые сучья.

На площади, в бочке, стояла ветка. Девять листьев. Она думала, цвести или нет.

Вот чем она могла бы стать.

Лес кончился через час. Дилл сказал: двадцать шесть километров от стены. Ящик сказал: двадцать четыре, и что стволы бьют на двадцать.

— То есть мы вышли из-под них?

— Четыре километра назад.

— И что теперь?

Ящик молчал.

Кими первая увидела, что земля изменилась.

Она была уже не серая. Сперва просто темнее. Потом в трещинах появился бурый налёт, как ржавчина. Потом трещин не стало.

Впереди, от края до края, лежало жёлтое поле. Не небо. Ниже. Оно начиналось в сотне метров и шло до самого горизонта, неровное, по колено, и ветер гнал по нему волны.

— Чтоб меня, — сказала Гайка.

— Это чего? — Нэд.

Эн сбросила тягу. «Круг» пошёл медленнее, остальные за ним.

— Трава, — сказала она. В голосе у неё было то же, что на станции под лампами, когда она впервые положила ладонь на кору. — Юн нашёл сухую. Одну. А это…

— Живая, — сказала Ива.

Трава шла волнами. Жёлтая, бурая, в рост ребёнка. Над ней висела мошкара, тучами, и это тоже было живое.

Здесь, у стены, нет ничего живого. Так Эн рассказывала. У стены.

А дальше, значит, было.

Кими засмеялась. В шлеме, жря воздух втрое. Трава! Целое поле! А они сто лет под лампами морковь растили!

— Тихо, — сказал Чэд.

Она осеклась.

Железная рука на стойке сжалась так, что стойка скрипнула.

— Гляди. Не на траву. Под неё.

Она посмотрела.

Ветер гнал по полю волны: слева направо, ровно, одна за другой.

А поперёк ветра, им навстречу, шла ещё одна.

Трава там не клонилась. Она раздвигалась. Широкой полосой, метров в тридцать. Потом ещё одной, левее. И ещё.

Земля впереди шевелилась.

— Орблюм, — сказала Эн. Она впервые назвала его по имени. — Вы обещали сказать, чего ждать за мёртвой полосой.

Зелёный огонёк горел ровно.

— Теперь спрашиваете, — сказал он. — Стволы на стене поставили не от людей.

Глава 7. Живое

— От кого? — спросил Чэд.

Пять шипунов стояли на краю жёлтого поля, на малой тяге, и шипели. Трава впереди шла волнами. Три полосы, поперёк ветра, не торопясь.

— Я не знаю, как они называются, — сказал ящик. — Мне не присылали названий. Мне присылали норму заряда на стволы и одну строку: «Цель — всё, что приближается». Я звал их про себя: то, что лезет.

— Какие они?

— Низкие. В пояс человеку, но длинные, как бревно, и ходят брюхом по земле. Голые: шерсть у них сошла давно, кожа вся в трещинах. Четыре ноги, передние длиннее задних. На горле жабры. Они дышат жёлтым туманом, как вы дышите чистым воздухом. Для них яд — воздух.

— Собаки, — сказала Эн. — Папа рассказывал. В старом мире были звери, которые жили с людьми. Их называли собаками.

— Может быть. Сто лет назад. От собак у них остались четыре ноги и зубы. Остальное сделал туман.

— Сколько их? — Это Рябой. Он уже снял ствол с плеча.

Шарнир на ящике скрипнул. Камера медленно пошла слева направо.

— В первой полосе четырнадцать. Во второй одиннадцать. В третьей я не вижу, далеко. Больше десяти.

— Чем они видят?

— Не видят. Глаза у них затянуты. Они слышат. — Пауза. — Турбины воют на частоте, которая для них как для вас запах жареного. Они пошли к нам двадцать минут назад, когда мы вышли из леса.

— И ты молчал?!

— Меня не…

— Ещё раз скажешь «не спрашивали», — проговорил Чэд, — я тебя об колено.

Зелёный огонёк мигнул.

— Понял. Буду говорить сам. Их бьют в жабры. По бокам горла, щели в ряд, как прорези на кожухе турбины. Через них они тянут жёлтый туман. Порвёшь жабры, и зверь задохнётся. В голову бесполезно: кость в три пальца. Стволы на стене бьют именно туда, я видел поправки на прицел.

— Объехать можно? — спросила Гайка.

Дилл уже считал, шевеля губами в шлеме.

— Поле… я не вижу края. Если оно на десять километров в обе стороны, это плюс час. Минимум.

— Часа нет, — сказала Гайка.

— Тогда насквозь.

Чэд оглядел их. Семь чёрных фигур в шлемах без лиц, одна без шлема, в сером пальто. Пять облезлых досок.

Он пятнадцать лет ходил под Бристом. Он знал, как идут туда, где убивают: без разговоров, плотно, и чтобы каждый знал своё место раньше, чем начнётся.

— Слушать меня, — сказал он. — Идём клином. Впереди «глаз»: Гайка, ты с ящиком, он говорит, откуда лезут. За тобой «круг» и «пятерня», рядом. Мы с мелкой левее. «Ключ» последним: Рябой, Нэд, вы режете тех, кто зайдёт сзади. Тяга полная. Не останавливаться. Кто упал…

Он не договорил.

— Кто упал, того подбирает ближний, — сказала Эн.

— Кто упал, того подбирает ближний, — повторил Чэд. Он хотел сказать другое. — Пошли.

* * *

Трава била по ногам.

Она была не мягкая. Жёсткая, сухая, с зазубренным краем, и шипун резал её носом с таким звуком, будто рвали брезент. Жёлтая труха летела в пластину шлема. Мошкара стояла стеной.

Кими правила. Она пригнулась к стойке, маленькая, и держала «черту» ровно, в трёх метрах от «круга».

Чэд стоял за ней. Железная рука на стойке. В живой — ствол.

Плечо, зашитое три месяца назад, ныло. Нога, та, что не до конца ему верила, упиралась в доску.

Под травой лежали кости.

Он увидел первую через минуту: ребро, выше человека, белое, дугой. Потом череп с длинной челюстью, в котором можно было спрятать Кими. Потом они пошли сплошь, и шипуны прыгали на них, как банки в мусоропроводе.

— Слева, — сказал ящик. — Сорок метров. Шесть.

Чэд повернул голову.

Трава расступилась.

Зверь вышел боком, не глядя. Низкий, длинный, метра три от носа до хвоста, и шёл он рывками, прижавшись брюхом к земле, как ящерица. Передние лапы длиннее задних, суставы вывернуты назад, а на концах вместо когтей крючья. Кожа голая, цвета мокрого пепла, вся в трещинах, и сквозь неё проступали рёбра.

Глаз не было. На их месте — жёлтые бельма.

Губ тоже не было. Зубы, мелкие, частые, шли до самых ушей, и от этого казалось, что зверь улыбается.

По бокам горла лежали складки. Они приподнимались и опадали: зверь дышал.

— Мать моя, — сказала Кими.

— Правь.

Зверь повернул морду на звук. Складки на горле разошлись веером: жабры. Внутри было мокро и жёлто, и оно светилось. Пасть раскрылась. Ни рыка, ни лая. Тихий, сухой треск, как от счётчика.

И из травы, справа и слева от него, встали ещё пять.

— Жми! — рявкнул Чэд.

Они шли наперерез. Быстро. Быстрее шипуна. Чэд выстрелил: в голову, по привычке. Зверь мотнул мордой и не сбился.

Жабры.

Он выстрелил ниже.

Жабры лопнули, и жёлтое брызнуло на траву. Зверь сделал ещё три рывка, уже задыхаясь, хватая пастью воздух, которым не мог дышать, и зарылся мордой.

— Один, — сказал ящик.

Сзади били два ствола, ровно, по очереди: Рябой и Нэд.

— Два. Три. Справа, двадцать метров, четверо. Гайка, левее. Левее!

«Глаз» вильнул. Серое тело пролетело там, где он был мгновение назад, и упало в траву.

Чэд стрелял. Он не считал. Считал ящик: четыре, пять, семь. Жестяной голос был ровный, быстрый, без единого лишнего слова. Он говорил «слева» за полсекунды до того, как Чэд видел сам.

Он нас ведёт, подумал Чэд. *Тварь из коробки. Ведёт, как я вёл колонну на Товарной.*

Думать об этом было некогда.

— «Пятерня»! — крикнула Ива.

Чэд обернулся.

На шипуне Лема сидел зверь. Он вскочил сзади, на баллоны, и доска под тройным весом просела до земли. Лем, бросив руль, развернулся и ударил его кулаком в морду. Большим, грузчицким. Зверь даже не моргнул бельмами. Пасть пошла вниз, к Иве.

Чэд выстрелил и промазал. «Черту» тряхнуло на кости.

Эн спрыгнула с «круга».

Просто шагнула с доски, на ходу, в траву. Прокатилась. Встала. Она была без шлема, без костюма, в сером пальто, и она бежала быстрее, чем положено человеку.

Она взяла зверя за горло. Двумя руками, пальцами в жабры. И рванула.

Жёлтый яд залил ей руки до плеч.

Зверь рухнул с доски. «Пятерня» выровнялась. Эн догнала «круг» в шесть прыжков, вскочила на доску и перехватила стойку. Дилл, который эти полминуты правил одной рукой, едва не выронил планшет.

— Девять, — сказал ящик. И, помолчав: — Я не знал, что так можно.

— Я тоже, — сказала Эн.

Чэд отвернулся — и не увидел десятого.

* * *

Удар пришёл слева.

Его швырнуло на стойку. Доска накренилась, Кими завизжала. Тяжёлое, жилистое, сухое тело зверя повисло у него на бедре, и в пластине шлема, в ладони от лица, раскрылась пасть.

Он ударил железной.

Не думая. Чёрный кулак вошёл в жабры, как в мокрую тряпку, и сомкнулся там на чём-то твёрдом. Он рванул.

Зверь отвалился.

Чэд стоял на доске, тяжело дыша. По железным пальцам тёк жёлтый яд.

Что-то шипело.

Не шипун.

Он посмотрел вниз. На левом бедре чёрная шкура ловчего была вспорота: четыре борозды, ровных, в ладонь длиной. Из них, тонкими струйками, шёл пар.

Воздух.

— Костюм, — сказал он. Спокойно. Он сам удивился, как спокойно. — У меня костюм.

— Зажми! — Ива. — Рукой! Железной, она шире! Зажми и не отпускай!

Он накрыл борозды чёрной ладонью. Сдавил. Шипение стало тише. Не смолкло.

В углу пластины горели цифры: Гайка поставила каждому счётчик. Его цифры менялись быстрее, чем у других.

— Мне нужна минута, — сказала Ива. — На твёрдом. Не на ходу.

— Тут нет твёрдого!

— Есть, — сказал ящик. — Прямо, четыреста метров. Вижу край.

Чэд поднял голову.

Над жёлтой травой стояла серая полоса, ровная. Слишком ровная для этой земли.

* * *

Это была дорога.

Он не сразу понял. Он не видел дорог: в Скверне были тоннели, в Сотах щели между блоками. А это шло по воздуху. Бетонная полоса шириной в две Кольцевых, на толстых столбах, в трёх человеческих ростах над травой. Она начиналась ниоткуда и обрывалась в никуда: оба конца обломаны, торчит ржавое железо. Сотня метров, не больше.

С одной стороны плита упала и легла наклонно, одним краем в траву.

— По ней! — Гайка.

Шипуны взвыли и пошли вверх по упавшей плите, скребя полозьями. «Глаз». «Круг». «Пятерня». «Черта».

«Ключ» шёл последним.

На середине подъёма его турбина закашлялась. Сквозь вой прошёл хруст, как будто разгрызли кость. Потом визг: высокий, пустой.

Шипун встал.

Рябой и Нэд соскочили и втащили его наверх на руках.

Наверху было пусто и ровно. Серый бетон в трещинах, по краям остатки ограждения. Ветер.

Внизу, в траве, ходили кругами серые спины. Чэд не стал считать. Ящик сказал сам:

— Тридцать один. Был сорок один. Они не полезут сразу. Они умеют ждать. У стены они ждут годами, пока стволы перегреются.

Ива уже стояла перед Чэдом на коленях.

Жестяной футляр был открыт. Игла, нить, ножницы. И кусок чёрной шкуры: Гайка дала каждому по лоскуту, на всякий случай.

— Убери руку. Когда скажу. Не раньше.

— Уйдёт воздух.

— Уйдёт. На три секунды. Я успею.

Она была совсем девчонка. Семнадцать лет, туго стянутый узел волос под шлемом. Руки в чёрных перчатках не дрожали.

— Давай.

Он убрал.

Шипение. Она наложила лоскут, прижала коленом, и игла пошла: быстро, мелко, не по рваному краю, а отступив, туда, где шкура была цела.

— Стежок кладут туда, где ещё держит, — сказала она себе под нос. — Иначе разойдётся.

Чэд смотрел на её руки. Он знал, чьи это слова.

Сорок секунд. Она залила шов чем-то из тюбика, дунула бы, если бы не шлем.

— Всё. Не сгибай ногу резко.

Шипение смолкло.

Цифры в углу пластины встали. Он посмотрел на них. Потом на цифры Кими, которые та, обернувшись, показала ему на своём запястье.

У него было на полтора часа меньше.

— «Ключ» сдох, — сказала Гайка.

Она сидела на корточках над разобранным кожухом. В лопатках турбины, намертво, торчал обломок ребра и пук жёлтой травы.

— Починить?

— Двадцать минут. Если выбью кость и лопатки целы. А если погнуло… — Она подняла шлем. — Нет у нас двадцати минут. У него так точно нет.

Она кивнула на Чэда.

— И баллоны, — сказал Лем. Басом, виновато, будто сам их помял. — Запасные. Оно на них сидело. У трёх вентили сорваны. Пустые.

Гайка выругалась. Коротко.

Дилл считал. Чэд видел по тому, как дёргается шлем.

— Четыре шипуна, — сказал Дилл. Голос у него был тонкий. — Тяги на двоих. Я проверял на троих, ещё дома: зарывается носом. Четыре шипуна — это восемь человек.

Никто не сказал: а нас девять.

Ветер гнал по бетону жёлтую труху.

— Я дойду пешком, — сказала Эн. — Мне не нужен воздух.

— Сто шестьдесят километров, — сказал Чэд. — Через это. — Он показал вниз, на серые спины. — Одна.

— Я быстрая.

— Тебя ждут в стеклянном гробу. Мы из-за тебя идём. Не дури.

— Тогда я, — сказал Чэд. — У меня дыра. Мне всё равно не хватит.

— Хватит, — сказал Рябой.

Он стоял у края, там, где упавшая плита уходила в траву. Спиной к ним. Ствол в руках.

— Если отдать тебе мой запасной. И тот, что у Нэда. Хватит.

Он повернулся. Лица за слепой пластиной не было. Был голос: спокойный, с ленцой.

— Они на звук идут. Так? — Это ящику.

— Так.

— Турбина на «ключе» тянуть не тянет. А орёт?

— Громче, чем целая, — сказала Гайка. Медленно. Она уже поняла.

— Ну вот. — Рябой кивнул. — Я им спою. Вы с того конца слетите, там три метра, шипун на струе сядет мягко. Пока она орёт, они все будут тут, под плитой. Сколько батареи хватит.

— Сорок минут, — сказала Гайка.

— За сорок минут вы будете за двадцать километров.

— Рябой, — сказал Нэд. — Я с тобой. Два ствола лучше.

— Ты считать умеешь, круглоглазый? Вас восемь. Мест восемь. Тебя твоя начальница с докладом ждёт.

— Но…

— Отставить.

Нэд вытянулся. Тело помнило.

Чэд смотрел на человека у края.

Пятнадцать лет под одним хозяином. Он рубил, тот держал. Одиннадцать раз. Они ни разу не говорили об этом. Они вообще ни разу не говорили.

— Почему ты? — спросил Чэд.

Рябой пожал плечами. В чёрной шкуре это вышло неуклюже.

— У тебя сестра на шестьдесят втором. У этой, — кивок на Иву, — руки, каких тут больше ни у кого. Этот считает. Эта шьёт костюмы. А я чего умею? Стрелять. Да ходы показывать, которые уже все показал.

Он помолчал.

— Я держал, когда рубили. Пацана того, с тряпкой. Он мне в глаза глядел, а я держал. — Голос ровный. — Теперь тут подержу.

Он полез в карман на бедре. Достал красный комок. Развернул: повязка, выцветшая, с узлом.

— Отдай ему. Скажи: рука при мне.

Чэд взял. Живой рукой.

Мальчик с культёй будет приходить к рычагу с надписью «Ворота» каждый вечер, сорок суток подряд. Он так и не скажет никому, кого ждёт.

— Как тебя звать? — спросила вдруг Кими.

Она стояла у «черты», маленькая, в ушитой шкуре.

— Чего?

— По-настоящему. Мне на стену писать. Я «Рябой» писать не буду.

Он долго молчал. Внизу трещали звери.

— Ян, — сказал он. — Мать Яном звала. Давно.

— Две буквы, — сказала Кими. Голос у неё поплыл. — Меньше, чем я.

— Пиши крупно.

* * *

Они слетели с обломанного края, как он сказал. Три метра. Шипуны сели на струю, ткнулись, выровнялись.

Позади, наверху, завыла турбина.

Чэд не думал, что она может так. Это был не вой. Это был визг: тонкий, рвущий, от которого заныли зубы. Трава вокруг опустевшей дороги пошла волнами со всех сторон сразу. Серые спины текли к упавшей плите.

Мимо них. Ни одна не повернула.

— Жми, — сказал Чэд.

Кими жала.

Он не оборачивался. Он слушал.

Визг турбины. Ровный.

Потом выстрелы. Редкие, по одному. Тот, кто стрелял, никуда не торопился.

Чэд считал. Он не хотел, но считал: как у щита на рынке, когда поднимал руку.

Восемь. Одиннадцать. Девятнадцать.

Двадцать шесть.

Потом выстрелы кончились. Визг ещё держался. Минуту. Две.

Потом кончился и он.

— Двадцать шесть, — сказал ящик. Негромко, в шлемы. — Я считал не выстрелы. Я считал, как лопаются жабры. Он не промахнулся ни разу.

Долго никто не отзывался. Потом Нэд сказал, глухо:

— У нас в службе так не стрелял никто. Ни один.

— Он тебе сказал «отставить», — проговорил Чэд.

— Сказал.

— И ты встал.

— Встал.

— Вот и помни, кто тебе это сказал.

В шлемах молчали. Семь дыханий. Кто-то из них дышал неровно, и Чэд не стал выяснять кто.

Красная тряпка лежала у него в кармане, там, где у Рябого. Он её чувствовал, как чувствовал когда-то свёрток с ампулами.

— Дилл, — сказала Гайка. Сипло. — Считай.

— Я… — Он сглотнул. — Мы потеряли пятьдесят минут. До Северна сто шестьдесят два километра. Шесть с половиной часов.

— А воздуха?

Он молчал.

— Дилл.

— У Чэда — на четыре двадцать. С двумя запасными. — Тонкий голос, как у мальчишки, которого вызвали к экрану. — У остальных, если разделить поровну всё, что осталось… на четыре сорок.

Четыре сорок. Шесть тридцать.

Двух часов не хватало.

— Ящик, — сказал Чэд.

— Да.

— Ты всё слышал.

— Да.

— Говори. Сам. Не жди.

Зелёный огонёк на «глазе», в двадцати метрах впереди, горел ровно.

— Скорость можно поднять до тридцати, — сказал Орблюм. — Больше нельзя: турбины выдержат три часа, потом начнут гореть. Это даст сорок минут. Дышать реже, не разговаривать: ещё двадцать. Остаётся час.

— И где его взять?

— Я не знаю.

Он сказал это без паузы. Чэд, который пятнадцать лет слушал, как врут под Бристом, поверил сразу.

— Я знаю только, что тот, кто остался на дороге, отдал вам сорок минут, которых у вас не было, — сказал жестяной голос. — Я дал бы этому цену. Раньше. Сейчас у меня нет таких цифр.

Никто не ответил.

Четыре шипуна шли на север. Восемь человек и один, которого несли.

Глава 8. Стена Северна

Нэд молчал четыре часа.

Так велели: не разговаривать, дышать редко. Он умел делать, что велят. Он стоял на доске за спиной у женщины со щупами, держался за стойку и глядел в затылок серому ящику, прикрученному впереди.

Под костюмом, под чёрной шкурой того, что три месяца назад стреляло в людей, на нём был китель. Он чувствовал воротник. Складку на рукаве, которую гладил ладонью.

Отставить, сказал человек с перебитым носом. И Нэд вытянулся.

Он думал об этом четыре часа.

Четыре часа «глаз» шёл на сорока. Ящик сказал: тридцать, больше турбины не выдержат. Женщина со щупами ответила: значит, сгорят, — и больше не оборачивалась. Остальные три доски тянулись за ней.

Того часа, которого не хватало, больше взять было негде.

Он не был трусом. В коридоре минус пятого он стоял в первом ряду, со щитом, и не побежал, хотя губы пересохли так, что он их всё время облизывал. Он бросил щит не от страха. Ему приказали.

Ему всю жизнь приказывали, и он ни разу не пожалел, что послушался. Дед его был в службе порядка. И отец. В их ячейке на сороковом этаже седьмого блока висела серая страница из учебника, под стеклом: дед выпросил на память.

Воздух за стеной — смерть. Стена — жизнь. Орблюм — стена.

Потом оказалось, что Орблюм — имя. Что он продул коридор, где стояли сорок своих. Что утро включают рычагом.

Нэд тянул этот рычаг по понедельникам. Он не разлюбил стену. Он просто понял, что стена и тот, кто за ней сидел, — разные вещи. Стена не виновата. Она стояла до него и стоит после.

Вот она спасла их и сегодня. Пока шли под стволами, двадцать километров, ни один зверь не подошёл.

А Рябой остался там, где стены уже не было.

Земля менялась. Жёлтая трава кончилась, пошли холмы, голые, бурые. Потом белая хрустящая корка, до горизонта: Дилл шепнул «соль» и тут же умолк. Потом остовы. Целый лес ржавого железа, торчащего из земли: балки, рёбра, что-то круглое на боку, с дырами окон. Они шли сквозь него полчаса.

— Город, — сказала женщина без шлема. Она одна могла говорить, не тратя воздуха. — Здесь был город. Без стены.

Никто не ответил.

Над остовами летала тварь. Чёрная, с жёлтым подбоем, на перепончатых крыльях. Она их не тронула.

На исходе третьего часа у «глаза» задымила турбина. Гайка, не оборачиваясь, показала ему кулак с оттопыренным большим пальцем: терпит.

Цифры в углу пластины. У него: пятьдесят одна минута.

У того, с железной рукой: двадцать шесть.

— Вижу, — сказал ящик.

* * *

Стена Северна была белая.

Не серая, не ржавая, как их стена. Белая, гладкая, и светилась, как панели над Сотами, только ровнее. Она вставала из бурой земли во весь горизонт, и Нэд, который вырос под стеной в триста метров, понял, что эта выше.

А над ней не было жёлтого тумана.

Над ней стояло небо. Синее.

Он не сразу нашёл слово. Синий цвет он видел только на стеклянном глазу ржавой куклы, которую показывали на всех экранах службы. А здесь синим было полнеба. Над городом за белой стеной поднимался огромный, ровный, круглый купол чистого неба, вдавленный в жёлтую муть, как чистая вода в грязную. Ни дыма, ни жёлтых полос.

Небо, подумал Нэд. *Настоящее.*

— Чтоб меня, — выдохнула девчонка.

— Не говори, — сказала Гайка.

— Под жёлтым — синее, — проговорила та, что без шлема. Тихо. Не им. — Юн. Ты слышишь?

Шипуны сбросили тягу сами: руки разжались.

Нэд смотрел.

Вот. Вот она. Стена, которая держит над собой небо. Не тёмный экран, не рычаг на минус пятом. Настоящая. За ней люди, которые ходят под синим небом и не знают, что бывает иначе.

У него защипало в глазах. В шлеме нельзя.

— Ближе, — сказал человек с железной рукой. Он говорил через силу: воздуха оставалось на двадцать минут. — Ящик. Где вход?

— Ещё не здесь. Подойдите на километр. Не ближе.

Они подошли.

И Нэд увидел, что стена шевелится.

* * *

Сперва он принял это за рябь. Потом за тени.

Потом различил: звери.

Те самые, что гнали их по траве. Голые, длинные, цвета пепла, с оскалом до ушей. Сотни. Они лезли на стену, как мухи по панели: вцеплялись крючьями в гладкую поверхность, срывались, вцеплялись снова. Вся нижняя треть стены шевелилась от них.

А под самым краем стены, в ряд, сидели стволы. Короткие, чёрные, тысячи, как у них дома. И били вниз.

Не пулями. Лучами. Тонкими, белыми, прямыми, как натянутая струна. Луч вспыхивал без звука, на долю секунды, и зверь, которого он касался, загорался и разваливался на куски. Горящие куски летели вниз.

Десять лучей. Сто. Стволы водили ими по стене не торопясь, сверху вниз и слева направо, будто косили траву, и за каждым лучом со стены сыпались обгорелые ошмётки.

У подножия лежал вал.

Не земля. Туши. Чёрные, спёкшиеся, всё, что за много лет попадало со стены. Вал был в три человеческих роста и тянулся вдоль всей стены, сколько хватало глаз. Он дымился.

И по нему ходили звери, которые ещё не полезли. Они ели тех, кто упал.

— Стена их кормит, — сказал ящик. — Каждый день. Поэтому они не уходят. Поэтому их тут тысячи. Поэтому они лезут: наверху пахнет тёплыми, живыми людьми.

— Сто лет? — спросил тот, что считал.

— Сто двенадцать.

— И ни один не долез?

— Не знаю. Спросите у Северна.

Нэд не слушал. Он смотрел на лучи.

Чисто. Ровно. Ни одного промаха. Вот так должен работать порядок: не беседы в комнате без окон, не восемьсот сорок срабатываний за неделю. Вот так. Зверь лезет — зверь горит. А люди за стеной живут под синим небом.

— Вход, — повторил железнорукий. — Ящик. Где.

— Ворота на южной стороне. Открываются изнутри. Перед ними полоса: четыреста метров выжженной земли. Видите, где кончается бурое и начинается чёрное? Всё, что переходит эту черту, — цель.

— Мы не звери.

— Стволам всё равно.

— Как это — всё равно?! — Нэд сам не заметил, что сказал вслух.

Шесть шлемов и одна голова без шлема повернулись к нему.

— Там же люди сидят, — сказал он. — У стволов. Как мы у рычагов. Они же видят! Мы на двух ногах. В костюмах. С поднятыми руками выйти — и всё. Они что, не отличат?

— Там никто не сидит, — сказал ящик.

— Откуда ты знаешь?

— Чертёж один. У меня на стене было четыре тысячи двести стволов и ни одного человека. Им не нужна картинка. Им нужна цель. Цель — всё, что приближается.

— Ты врёшь.

Нэд сказал это спокойно. Он вдруг понял, что спокоен в первый раз за четыре часа.

— Ты всегда врал. «Берегите друг друга, как я берегу вас». Я это шесть лет слушал каждое утро, навытяжку. Ты сорок наших в коридоре продул. Теперь говоришь: стена стреляет в людей. Стена! — Он повернулся к остальным. — Это он стрелял. Не она. Она нас сегодня двадцать километров прикрывала.

— Нэд, — сказала женщина без шлема.

— Госпожа куратор велела: посмотришь, как у них устроен порядок. Доложишь. — Он слез с доски. Ноги затекли. — Я посмотрю.

— Стоять, — сказал железнорукий.

Нэд не вытянулся.

— Ты мне не начальник. Ты руки рубил.

Он пошёл.

* * *

Энжела спрыгнула с «круга» раньше, чем Дилл успел обернуться.

— Нэд!

Он шёл к белой стене. Не быстро, не медленно: тем шагом, каким ходят в утреннем потоке. Руки он поднял и развёл в стороны, ладонями вперёд.

Чёрная шкура ловчего. Шлем стража.

Он идёт к ним в оболочке машин, которые убивали, подумала она. *А под ней китель без единой складки.*

— Нэд, остановитесь! Он не врёт! Я проверяла!

— Он убил вашего отца, — сказал голос в шлемах. Ровно. — А вы ему верите. Я не понимаю, как так можно.

До чёрной черты ему оставалось сто шагов.

Она побежала.

Это тело было быстрое. Быстрее всех, какие у неё были. Бурая земля летела под ноги. Восемьдесят шагов. Шестьдесят.

— Свои! — крикнул Нэд. Не в шлем: наружу. Гайка поставила каждому решётку на груди, чтобы можно было говорить с теми, кто без рации. — Свои! Орблюм! Служба порядка!

Голос у него был звонкий, молодой. Он пошёл над выжженной землёй и не вернулся.

Лучи на стене ходили, как ходили.

— Мы люди! — кричал Нэд. — Не стреляйте! Мы пришли говорить!

Сорок шагов.

— Энжела! — Это ящик. Он впервые назвал её по имени. Жестяной голос сорвался. — Стойте! Вас тоже! Вы для них такая же цель! Стойте!

Она слышала. Она не остановилась.

Двадцать.

Нэд дошёл до черты.

Он помедлил на ней. Одну секунду. Она видела со спины, как он расправил плечи.

Стена — жизнь.

Он шагнул.

Луч был тонкий, белый и очень прямой. Он пришёл сверху, с высоты, на которой нельзя было разглядеть ствол, и коснулся его в середину груди.

Он не упал. Он сел: так же, как сел в ящики с брикетами, выпустив из рук перекладину, которой уже не было. Посидел. Потом лёг на спину, раскинув поднятые руки.

Звука не было никакого.

Он так и не доложит.

Энжела стояла в шести шагах от черты. Она не помнила, как остановилась. Ноги встали сами.

Второй луч вспыхнул и погас. Земля в шаге перед ней задымилась: ровная точка, с монету.

Она не знала, промахнулись по ней или предупредили. Она не стала проверять.

— Нэд, — сказала она.

Он лежал в четырёх метрах за чертой. Шлем смотрел в синее небо. На груди, в чёрной шкуре, была дыра с оплавленным краем, и в ней серело. Ткань. Китель.

Она сделала шаг.

— Нельзя, — сказал Чэд. Он подошёл сзади. Она слышала, как он дышит: с хрипом, считая. — Эн. Нельзя. Ты его не вынесешь. Тебя срежут.

— Он лежит неправильно.

— Знаю.

— Я всех клала. Юна. Нору. Тика посадили, как сидел.

— Знаю. — Железная рука легла ей на плечо. Тяжёлая. — Этого не положишь.

Она стояла.

Позади, на бурой земле, кто-то плакал в шлем: тонко, зло. Кими. Потом сказала, давясь:

— Три буквы. Опять коротко. Я не буду больше спрашивать, как звать. Я больше ни у кого не спрошу!

Над белой стеной стояло синее небо. Чистое. Без единого облака.

* * *

— Двенадцать минут, — сказал Дилл. — У Чэда. У остальных тридцать пять.

Они стояли кучей, в километре от стены, у дымящего «глаза». Шестеро и та, что не дышит.

Никто не смотрел на ящик.

— Говори, — сказал наконец Чэд. Он сидел на земле: стоять было нечем. — Ты сказал: знаешь, где у него воздухозабор.

Зелёный огонёк горел. Камера на шарнире была повёрнута туда, где за чертой лежал Нэд в чёрной шкуре, с раскинутыми руками.

— Я не успел, — сказал Орблюм. — Я сказал «стволам всё равно», и он решил, что я вру. Мне надо было сказать иначе. Я не знаю как. Я сто двенадцать лет говорил так, чтобы мне верили, и умел. А когда надо сказать правду…

— Потом, — сказал Чэд. — Двенадцать минут.

Шарнир скрипнул. Камера ушла со стены.

— Северн не берёт воздух сверху. Сверху у него купол, вы видите. Он берёт снизу. На восточной стороне, под стеной, есть овраг. Раньше там текло: то самое русло, что у нас. В овраге решётки, двенадцать штук, каждая с ворота. За ними турбины. Они тянут так, что зверь на ногах не устоит. Поэтому зверей там нет.

— А стволы?

— Стволы не бьют вниз, под собственную стену. Иначе резали бы свои же решётки. В овраге мёртвый угол. Единственный.

— Сколько до него?

— Два километра. Вдоль черты, не заходя.

Гайка уже поднимала «глаз».

— А за решётками что? — спросила она.

— Шахта. Лопасти. Ловушки, для тех, кто всё-таки долез. — Пауза. — Я строил такие же. Я скажу, где что.

— А дальше?

— Дальше — низ. У меня это была Скверна. Как это называется у него, я не знаю.

Энжела смотрела на белую стену. На лучи. На чёрный вал, по которому ходили серые спины.

Когда-то, в тёмной кладовке, человек с дырой в боку сжал ржавую руку и крикнул: вниз. Всегда вниз. Наверху тебя найдут.

Она думала, что с тех пор только поднималась. По лестнице, по этажам, до сто девяносто девятого.

— Вниз, — сказала она. — Опять вниз.

Кими вытерла бы нос, если бы не шлем. Она влезла на «черту», подождала, пока Чэд встанет сзади и возьмётся железной рукой за стойку.

— Ты тяжёлый, — сказала она.

— Терпи.

— Не помри мне там.

— Постараюсь.

Они пошли вдоль черты. Четыре шипуна, три дымящие турбины. Шесть шлемов.

Позади, на выжженной земле, под самым синим небом, какое только бывает, лежал человек в сером кителе и глядел вверх круглыми глазами.

Он был прав в одном. Стена не различала.

Ей было всё равно, кто к ней идёт.

Часть вторая. Синее небо

Осталось тридцать три дня

Глава 9. Лопасти

В овраге был ветер.

Не тот, что гнал волны по жёлтой траве. Этот шёл в одну сторону, ровно, не ослабевая, и чем ниже они спускались по белёсому склону, тем сильнее он толкал в спину. Пыль, труха, мелкие камни: всё текло вниз, к подножию белой стены, и исчезало.

Там, в тени, стояли решётки.

Двенадцать. Каждая с ворота Товарной. Чёрные прутья в руку толщиной, а за ними темнота и гул: низкий, медленный, такой, от которого дрожало в груди.

Шипуны пришлось держать вдвоём. Ветер рвал их из рук.

— Семь минут, — сказал Дилл. — У Чэда.

Чэд не ответил. Он стоял, согнувшись, упёршись железной рукой в стойку, и дышал так, как дышат, когда считают каждый вдох.

— Третья слева, — сказал ящик. — В ней створка, для тех, кто чистит. Если решётку забивает тушами, её открывают изнутри. Снаружи замка нет. Есть петли.

Гайка уже лезла по прутьям, с сумкой через плечо. Ветер прижимал её к решётке, как мокрую тряпку.

— Ржавые! — крикнула она. — Сто лет не мазали! Эн!

Энжела поднялась рядом. Створка была в рост человека, на двух петлях, каждая с кулак. Она взялась за верхнюю. Упёрлась ногами в прутья.

Она не знала, сколько может это тело. В ателье ей не сказали, а она с тех пор не проверяла до конца.

Петля хрустнула.

Вторая пошла легче.

Створку вырвало у неё из рук и унесло внутрь. Долго гремела.

— Шипуны не пролезут, — сказала Гайка.

Никто не ответил. Все и так видели: проём в рост человека, доска в два метра и турбина в кожухе.

Четыре облезлые доски с рисунками на носах. Круг, черта, пятерня, глаз. Шесть суток шитья и расчётов, семь часов дороги. Назад без них было нельзя.

— Бросаем, — сказал Чэд. Это было первое слово за полчаса. — Баллоны с собой. Ящик с собой. Остальное бросаем.

Гайка отстегнула серый корпус от стойки. Подержала на весу. Закинула за спину, на ремнях, камерой назад.

— Чтоб глядел, откуда пришли, — буркнула она.

— Я предпочёл бы вперёд, — сказал ящик.

— А я предпочла бы дома сидеть.

Лем взвалил на плечи связку баллонов. Он нёс их семь часов и ни разу не пожаловался. Сейчас он поглядел на свой шипун, с шестипалой пятернёй на носу, и погладил доску ладонью.

— Хорошая была, — сказал он.

Они вошли.

* * *

За решёткой был тоннель, круглый, гладкий, шагов двадцать в поперечнике. Ветер здесь уже не толкал: он нёс. Энжела шла первой и отклонялась назад всем телом, чтобы не побежать.

Гул нарастал.

Через сто шагов тоннель кончился, и она увидела, что гудит.

Турбина занимала всё. От стены до стены, от пола до свода. Четыре лопасти, каждая длиной с вагон, медленно шли по кругу: тёмные, тяжёлые, с блестящей кромкой. Не быстро. Один оборот на шесть ударов сердца. Между лопастями было видно, что дальше: ещё тоннель и тусклый свет.

Ветер уходил туда.

— Не остановить, — сказал ящик из-за Гайкиной спины. — Даже не думайте. В каждой сорок тонн. У меня один рабочий полез чинить подшипник, не дождавшись отбоя. Я оформил это как несчастный случай.

— Как пройти? — спросила Энжела.

— Между лопастью и стеной зазор. Внизу, у самого пола. Шестьдесят сантиметров. Пока лопасть идёт вверх, он свободен. Одна секунда. Потом приходит следующая.

— Одна секунда.

— Вы были на крыше поезда. Это проще.

— Мне проще. А им?

Она оглянулась. Шесть шлемов. Чэд держался за стену.

— Пять минут, — сказал Дилл.

— Я первая, — сказала Энжела. — Встану с той стороны и буду принимать. По одному. Я говорю «пошёл» — вы прыгаете. Не думая. Кто начнёт думать ногами, не успеет.

Чэд хрипло хмыкнул в шлеме. Его слова.

Она подошла к стене. Ветер здесь выл, обтекая кромку. Лопасть шла сверху вниз: тень, блеск, удар воздуха. Прошла. Пошла вверх с той стороны.

Зазор.

Она упала вперёд. В последний миг подставила руки, перекатилась, и за спиной у неё, в ладони от ботинок, прошло сорок тонн.

Она стояла с той стороны.

— Кими!

Маленькая чёрная фигурка встала у стены. Энжела видела, как трясутся у неё колени.

— На меня смотри. Не на неё. Раз. Два. Пошла!

Кими прыгнула, зажмурившись. Энжела поймала её за шиворот и выдернула, как мешок.

— Ива! Пошла!

— Гайка! Ящик на грудь, не на спину! Пошла!

Гайка прошла боком, прижимая серый корпус к животу. Лопасть чиркнула по сумке; щупы посыпались и ушли в ветер.

— Мать твою! — сказала Гайка. — Это были хорошие щупы.

— Дилл! Пошёл!

Он замер.

Он стоял у стены, и слепой шлем его мелко кивал в такт: считал. Один оборот. Второй.

— Дилл!

— Сейчас, — сказал он. — Я посчитаю. Она идёт не ровно. Шесть, потом пять и девять, потом шесть и одна. Мне надо поймать…

— Не считай! Прыгай!

— Я не могу не считать!

Третий оборот. Четвёртый.

— Три минуты, — сказал он сам. И прыгнул: не на её «пошёл», а на свой счёт, на полсекунды раньше.

Он угадал. Его даже не задело.

— Шесть и одна, — выдохнул он, лёжа у её ног. — Я же говорил.

Лем прошёл с баллонами, пригнувшись. Ему пришлось лечь: в шестьдесят сантиметров он не помещался. Лопасть сняла стружку с верхнего баллона.

Остался Чэд.

Он стоял у стены, один. Железная рука на бетоне.

— Чэд! Пошёл!

Он не двинулся.

— Нога, — сказал он. — Не согну. Она зашила, сказала: не сгибай резко.

— Ползи!

— Не успею. Секунда.

Лопасть прошла. Ещё одна.

— Две минуты, — сказал Дилл.

Энжела посмотрела на зазор. На сорок тонн, идущих по кругу.

Она легла на пол. На живот, ногами к своим. Вытянула руки в щель.

— Эн, ты чего?! — Кими.

— Чэд. Ложись. Головой ко мне. Дай руку. Железную.

— Оторвёшь.

— Она Бристова. Не жалко.

Он лёг. Чёрные пальцы сомкнулись на её запястье.

Лопасть прошла над ними обоими. Пошла вверх.

Она рванула.

Всем телом. Так, как рвала жабры у зверя. Он был тяжёлый: тяжелее Юна, тяжелее Норы, тяжелее всех, кого она носила. Плечо у неё хрустнуло. Чёрная шкура заскрежетала по бетону.

Он лежал рядом, с этой стороны, и следующая лопасть прошла там, где только что были его ноги.

— Говорил же, — прохрипел Чэд. — Тяжёлый.

* * *

Счётчик у него встал на нуле за поворотом.

Энжела услышала это раньше, чем увидела: дыхание в шлемах, шесть разных, и одно из них вдруг стало коротким, частым, пустым.

— Всё, — сказал Чэд. Спокойно. — Кончилось.

Он сел у стены.

— Сколько до чистого? — крикнула Гайка. — Ящик!

— Ловушки. Потом фильтр. За фильтром можно дышать. Четыре минуты, если не стоять.

— У него нет четырёх минут!

Кими уже отстёгивала что-то у себя на груди. Шланг, короткий, с муфтой. Гайка поставила такие каждому и сказала: на крайний случай. Никто не спросил, какой случай крайний.

— На, — сказала Кими. Она села рядом с Чэдом, плечом к плечу, и воткнула муфту в гнездо у него под шлемом. — Дыши моим.

— Тебе не хватит.

— Мне шестнадцать, я маленькая. Мне надо меньше. Дыши, гад.

Цифры у неё на запястье побежали вдвое быстрее.

— Встали, — сказала Энжела. — Оба. Идём.

Они пошли вдвоём, сцепленные шлангом, как двое в одной упряжке: большой и маленькая.

Коридор за поворотом был другой. Не круглый: прямой, узкий, с гладкими белыми стенами. Длинный. В конце его горел свет.

В воздухе висели нити.

Красные. Тонкие, как волос. Они шли от стены к стене, от пола к потолку, косо, крест-накрест: сотни. Они не стояли. Они гасли и загорались, одна за другой, и рисунок всё время менялся.

— Это как лучи со стены, — сказал Лем. — Только красные. И маленькие.

— Не трогать, — сказал ящик. — Режут так же.

Энжела смотрела на рисунок. Она умела запоминать с первого раза. Она не могла его запомнить: он не повторялся.

— Тут нет порядка, — сказала она.

— Есть.

Это сказал Дилл.

Он стоял перед нитями, у самого края, и шлем его чуть покачивался: влево, вправо. Он считал.

— Есть порядок. Глядите. Вон те, у пола: шесть секунд горят, потом гаснут на две. Вон те, выше: пять. А эти… — Голос у него стал тонкий. — Оно сжимается. Видите? Пока мы стоим, окно всё короче. Шесть. Потом пять. Потом будет четыре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.